



Екатерина
Мордвинцева

РАЗВОД

Но осколками к счастью

Екатерина Мордвинцева

Развод. По осколкам к счастью

«Литнет»

2026

Мордвинцева Е.

Развод. По осколкам к счастью / Е. Мордвинцева — «Литнет»,
2026

Запах чужих духов на его рубашке стал последней каплей. В тот вечер Наталья поняла: она больше не будет ждать. Не будет терпеть. Не будет делать вид, что всё хорошо. Она собрала вещи, оставила ключи в почтовом ящике и шагнула в новую жизнь. Без мужа, без свекрови, без привычного мира. Осталось только одно — желание рисовать. И страх, что ничего не получится.

© Мордвинцева Е., 2026

© Литнет, 2026

Содержание

Глава 1	5
Глава 2	13
Глава 3	24
Глава 4	35
Конец ознакомительного фрагмента.	39

Глава 1

Линолеум в прихожей встретил ее привычным липким холодом.

Наталья переступила порог, и это ощущение — влажное, нечистое — пробилось сквозь слой усталости, въевшейся в плечи. Она замерла на секунду, прикрыв дверь ногой, потому что руки были заняты. Два тяжелых пакета впивались полиэтиленовыми ручками в ладони, обещая оставить багровые полосы. В одном — картошка, свекла, морковь, лук. Тяжелый, земляной груз. В другом — банка соленых огурцов «как у Светочкиной мамы», пачка куриных бедер на ужин, хлеб и полторашка кефира, который она взяла для себя, хотя знала, что Тамара Семеновна скажет: «Кефир? Опять желудок расстроился? Это все от нервов, Наталья».

Она поставила пакеты на пол. Звук получился глухой, слишком громкий в тишине.

Тишина была обманчивой.

Наталья знала: свекровь дома. Чувствовала это каждой клеткой — так чувствуешь присутствие хищника, затаившегося в темноте. Воздух в квартире был густым, спертый, пропитанным запахами тушеной капусты, старых газет и чего-то еще — неуловимо-тяжелого, от чего хотелось открыть все окна настежь, но нельзя, потому что Тамара Семеновна «не выносит сквозняков».

Наталья сняла пальто. Движения были автоматическими: повесить на крючок, поправить рукава, чтобы не помялись. Раньше она вешала его в шкаф, но два года назад свекровь объявила, что « меховые королевские вещи » (имелась в виду старая норковая шуба, которую Тамара Семеновна хранила как зеницу ока) не терпят соседства с «повседневным тряпьем». И Наталья, тогда еще Наташа, которая старалась всем угодить, покорно переселилась на вешалку в прихожей. Теперь ее куртки и пальто висели на виду, как вещи прислуги.

— Наконец-то.

Голос возник из глубины квартиры, и Наталья внутренне сжалась. Каждый раз это происходило помимо воли — рефлекс, выработанный за три года брака. Три года. А казалось — тридцать.

Тамара Семеновна выплыла из кухни, вытирая руки о клетчатое полотенце. Ей было пятьдесят восемь, но выглядела она на все семьдесят: иссушенное лицо, тонкие губы, поджатые в вечной неудовлетворенности, волосы, уложенные в тугую химическую завивку, которая делала ее похожей на ошетилившуюся кошку. Она не работала уже лет десять — сначала «по состоянию здоровья», потом «чтобы заниматься домом и сыном», но дом при этом был вечно в полухаосе, а сын, Лев, тридцатидвухлетний мужчина, до сих пор не умел заварить себе чай без маминых указаний.

— Я уже думала, ты решила заночевать где-нибудь, — свекровь скользнула взглядом по пакетам, по пальто, по лицу Натальи. — Шесть часов. Ты вышла в пять.

— Очередь в магазине, — ровно ответила Наталья. Она знала: оправдываться бесполезно, но не оправдываться нельзя — молчание свекровь воспринимала как вызов.

— В «Пятерочке»? В пять часов там очереди? — Тамара Семеновна изогнула бровь. — Или ты зашла еще куда-то по пути? Погуляла?

— Я зашла на почту. Заплатила за свет.

— Ах, за свет, — протянула свекровь. — Ну конечно. А то, что у нас свет горит впустую целыми днями, когда ты сидишь в интернете, это ничего. Мы, люди старой закалки, знаем цену каждой копейке.

Наталья промолчала. Она знала эту игру. Любой ответ — топливо для костра. Скажешь: «Я не сижу в интернете, я работаю» — получишь: «Работа у тебя — сидеть в офисе и бумажки перекладывать, вот Лев у нас работает, так работает». Скажешь: «Я не включаю свет днем» — получишь: «Ах, значит, я вру? Ты меня врунейставляешь?»

Молчание было единственным оружием, но и оно отдавало капитуляцией.

Она нагнулась за пакетами. В этот момент свекровь сделала шаг вперед, и ее глаза упали на банку, выглядывающую из целлофана.

— Огурцы? — голос Тамары Семеновны вдруг потеплел, обрел медовые нотки. — Огурцы соленые?

— Да. Те, которые вы любите. «Как у Светочкиной мамы», — Наталья произнесла это нейтрально, без интонации.

Но она знала, что будет дальше. Знала, потому что этот ритуал повторялся каждый раз, когда в доме появлялось что-то, напоминающее о Светочке.

— Светочкина мама, — мечтательно протянула Тамара Семеновна, беря банку в руки, разглядывая этикетку так, будто та хранила секрет идеального засола. — Вот у кого надо было учиться, Наталья. Светочка и готовит божественно, и по дому все успевает, и на работе — ведущий специалист, между прочим. А ты хоть бы раз что-то сама засолила? Или хоть борща нормального сварила?

— Я варю борщ, — тихо сказала Наталья.

— Тот, что ты называешь борщом? — свекровь картинно вздохнула. — Одна свекла, никакой наваристости. А Светочкин борщ — это произведение искусства. Лев до сих пор вспоминает.

Наталья замерла. Руки, державшие пакеты, начали неметь.

Светочка. Идеальная Светочка. Подруга детства Льва, дочь лучшей подруги Тамары Семеновны, несостоявшаяся невестка, которую прочили в жены с пеленок. Светочка, которая вышла замуж за «очень перспективного человека из Москвы» и теперь жила в столице, но в этом доме, на этой кухне, она продолжала царить невидимой королевой. Ее имя вплеталось в каждую беседу, ее достоинства перечислялись как мантры, ее тень ложилась на каждую ошибку Натальи.

Сегодня ошибкой были огурцы.

— Лев до сих пор вспоминает, — повторила Тамара Семеновна с удовольствием. — Да. Я ему вчера говорю: «Сыночек, может, Свете позвонишь? Она в разводе теперь, бедняжка. Такая женщина одна — это преступление». А он задумался, знаешь? Задумался.

Наталья поставила пакеты на пол. Аккуратно. Медленно.

В груди разрасталось что-то горячее, темное. Она пыталась его затолкать, спрятать, как всегда — за улыбку, за молчание, за «да, Тамара Семеновна, вы правы». Но сегодня что-то было иначе. Может быть, усталость накопилась до критической массы. Может быть, та странная пустота, которую она заметила в себе утром, глядя в зеркало — пустота, где когда-то было что-то живое — не выдержала.

— Знаете, — сказала она, и голос ее прозвучал ровно, слишком ровно, — Светочка, наверное, замечательная женщина. Раз уж вы так часто о ней говорите.

Тамара Семеновна расплылась в улыбке, не уловив подвоха.

— О, ты даже не представляешь! Она и статная, и умница, и готовит, и дом — полная чаша. Не то что некоторые...

— Но, — перебила Наталья, и это слово упало в тишину, как камень в стоячую воду, — увы, Светочке вашей, как и вам, не повезло.

Тишина стала абсолютной.

Тамара Семеновна перестала улыбаться. Ее лицо, еще секунду назад такое медовое, застыло, а потом начало медленно наливать краской — от шеи к щекам, от щек к вискам. Глаза сузились.

— Что ты сказала?

— Я сказала, — Наталья почувствовала, как слова выходят из нее сами, без ее воли, но останавливаться уже не могла, — что Светочке не повезло. Потому что если бы ей повезло,

она бы уже давно была вашей невесткой. И тогда терпеть вам пришлось бы не меня. А раз вы терпите меня, значит, так сложилось. И терпеть вам меня, Тамара Семеновна, до самой смерти.

Последние слова прозвучали почти ласково. И в этой ласке было что-то страшное.

Свекровь открыла рот. Закрыла. Ее пальцы, все еще державшие банку с огурцами, побелели. Наталья смотрела на эти пальцы и почему-то подумала: «Если она уронит банку, я не буду ее поднимать. Не буду собирать осколки. Не буду».

— Ты... — голос Тамары Семеновны задрожал, но не от слабости — от ярости, которую она сдерживала с трудом, потому что «воспитанные люди не кричат». — Ты как с матерью разговариваешь?

— Вы мне не мать, — сказала Наталья. — Вы свекровь. И я ваша невестка. Мы друг другу ничего не должны. Кроме, возможно, вежливости.

— Вежливости?! — взвизгнула Тамара Семеновна, и маска «воспитанной леди» дала трещину. — Это ты мне про вежливость говоришь?! Я тут вкалываю, дом веду, сына вырастила, а ты — пришла, ножки протянула, и еще...

Она бы продолжала. Наталья знала: этот монолог мог длиться часами. Но сегодня у нее не было часов. Не было желания. Не было сил.

— Тамара Семеновна, — перебила она, все еще ровно, — Лев просил принести ему ужин. Он сегодня задерживается. Я отнесу.

Это было спасение. Предлог, за который она ухватилась, как утопающий за соломинку. Она не знала, просил ли Лев что-то принести. Но свекровь, услышав имя сына, всегда переключалась. Сын был священным.

— Ужин? — Тамара Семеновна мгновенно перестроилась. Ярость еще плескалась в глазах, но уже отступала перед материнским долгом. — Ужин? А что ты ему понесешь? Пустые пакеты?

Она развернулась и засемила на кухню, на ходу причитая:

— Львушка наш работает, спину там гнет, а ты... Ладно. Сейчас. У меня там суп остался, котлеты. И пирожков ему напеку, свеженьких. Ты только подожди. Хотя нет, ты иди переоденься, а я соберу. И смотри, неси аккуратно, не тряс. Вчера в новостях говорили — в офисах сейчас вирусы, он иммунитет слабый, я его с пеленок...

Наталья не слушала. Она прошла в спальню, закрыла дверь — не защелкивая, потому что замок давно сломали, а требовать починить было бесполезно — и прислонилась лбом к холодной стене.

Дрожь прошла по телу, от позвоночника к кончикам пальцев. Она сжала руки в кулаки, чтобы унять эту дрожь, и увидела, как побелели костяшки. «Словно у старухи», — подумала она.

В комнате было темно. Лев не любил, когда зажигали свет до его прихода — «электричество дорогое». Шторы были задернуты, и только узкая полоска уличного фонаря пробивалась сквозь щель, ложась на брачное ложе — кровать с атласным покрывалом, которое выбрала Тамара Семеновна («молодым — все лучшее»), и две подушки: его — высокая, ортопедическая, ее — плоская, старая, которую она принесла из родительского дома.

Наталья смотрела на эту кровать и чувствовала, что задыхается. Воздух в спальне был таким же густым, спертый, как и везде. Пахло старыми вещами, лекарствами (аптечка Тамары Семеновны занимала целую полку в коридоре) и чем-то сладковато-приторным — освежителем воздуха, которым свекровь опрыскивала комнаты, чтобы «убрать запах готовки».

Она закрыла глаза. Представила, как открывает окно. Как холодный ветер врывается внутрь, раздувает шторы, сметает этот спертый воздух, этот запах чужой жизни, чужого контроля. Как она сама встает на подоконник — нет, глупость, не надо на подоконник — просто дышит. Глубоко. Свободно.

— Наталья! — голос свекрови из кухни был резким, требовательным. — Ты там уснула, что ли? Ужин остынет! Львушка ждать не будет!

Она открыла глаза.

В зеркале трюмо, которое стояло напротив кровати, она увидела свое отражение. Бледное лицо, тусклые русые волосы, собранные в небрежный пучок, темные круги под глазами. Три года назад это лицо было другим — живым, румяным, с быстрой улыбкой и смешливыми морщинками у глаз. Три года назад она была Наташей — девушкой, которая любила хохотать до слез, танцевать под дождем, рисовать акварелью на кухне в своей съемной квартирке.

Теперь она была Натальей. Женой Льва. Невесткой Тамары Семеновны. Девочкой на побегушках. Бухгалтером в ООО «СтройТехСервис». Функцией. Мебелью.

— Иду, — сказала она своему отражению.

Отражение не ответило.

Тамара Семеновна собрала ужин так, будто готовила провиант для армейской роты. Термос с супом, контейнер с котлетами и гречкой, отдельный пакет с пирожками — с капустой, с картошкой, с повидлом, «чтобы Львушка мог выбрать», яблоко, завернутое в салфетку, и маленькая баночка сметаны, прихваченная резинкой.

— Держи, — свекровь сунула тяжелый пакет в руки Натальи. — И смотри, не урони. И не вздумай по дороге заходить куда-нибудь. Лев ждать будет.

— Я помню, — сказала Наталья.

Она уже надела пальто, уже застегнула пуговицы, уже взялась за ручку входной двери, когда свекровь произнесла, не глядя на нее:

— И насчет Светочки... Ты не думай. Я все сказала к слову. Просто Льву нужна забота, а ты...

— А я?

Тамара Семеновна поджала губы.

— А ты... не умеешь.

Наталья открыла дверь.

Воздух, который хлынул из подъезда, был холодным, сырым, пахло мокрым бетоном и чьей-то сигаретой. Но для нее этот воздух показался самым чистым, самым сладким на свете. Она шагнула за порог и услышала, как дверь за спиной захлопнулась с тем особенным, окончательным звуком, который всегда возникал, когда она уходила из этой квартиры.

Как будто граница. Как будто там, за дверью, был один мир — тесный, душный, серый, а здесь, снаружи, начинался другой. Вольный. Живой.

Она спустилась на первый этаж, толкнула тяжелую подъездную дверь плечом — руки были заняты — и вышла на улицу.

Осенний вечер обрушился на нее всей своей промозглой красотой. Небо было низким, серым, тяжелым от дождя, который только что закончился. Асфальт блестел черным глянцем, в лужах отражались фонари — искаженные, размытые, дрожащие от ветра. Воздух пах озоном, мокрыми листьями и той особенной свежестью, которая бывает только после дождя, когда город на короткое время смывает с себя пыль, копоть, усталость.

Наталья остановилась на крыльце и закрыла глаза. Вдохнула. Глубоко. Так, как мечтала там, в спальне. Холод обжег легкие, и ей показалось, что вместе с этим холодом внутрь проникает что-то чистое, забытое, то, что она когда-то знала, но потеряла.

Она открыла глаза и посмотрела на детскую площадку во дворе.

Качели были пусты. Мокрые, темные, они слегка раскачивались от ветра, издавая тихий, жалобный скрип. Наталья смотрела на них и вспоминала, как в детстве любила качели. Как могла раскачиваться часами, чувствуя, как ветер свистит в ушах, как мир сжимается до одной точки — неба вверху и земли внизу, и между ними — только она, свободная, летящая.

Когда она в последний раз сидела на качелях? Года три назад? Четыре? Кажется, еще до замужества. До того, как качели стали просто предметом, мимо которого она проходит два раза в день — на работу и с работы.

В сумке завибрировал телефон.

Наталья вытащила его, увидела имя на экране, и что-то теплое шевельнулось в груди. Ира. Подруга. Единственный человек, с которым она могла быть собой — хотя в последнее время и с Ирой она все чаще играла роль «все хорошо, я справляюсь».

— Аллю, — сказала она, и голос ее прозвучал хрипло, как будто она долго молчала.

— Натаха! — голос Иры был звонким, быстрым, полным жизни. — Ты где?

— Иду к Льву. Ужин несу.

— Опять? — Ира вздохнула с таким выражением, будто хотела сказать что-то резкое, но сдержалась. — Слушай, у меня к тебе предложение. В пятницу девичник. У Ленки из бухгалтерии день рождения. Собираемся в «Манхэттене», потанцуем, отдохнем. Ты придешь?

Наталья помолчала. Девичник. Танцы. Смех. Все это казалось таким далеким, словно из прошлой жизни. Из жизни Наташи.

— Я не знаю, Ир, — начала она привычное. — Там Лев, работа, Тамара Семеновна...

— Слушай, — перебила Ира, и в ее голосе появились стальные нотки. — Я сейчас скажу тебе одну вещь, и ты меня, может быть, возненавидишь. Но я скажу.

— Ир...

— Ты не живешь, Натаха. Ты выживаешь. Ты исчезаешь. Я смотрю на тебя — и вижу, как ты становишься все меньше. Как будто кто-то стирает тебя ластиком. Сначала убрал твои краски, потом твой смех, потом твои мечты. И теперь, когда я смотрю на тебя, я вижу не тебя, а кого-то другого. Какую-то... функцию. Жена. Невестка. Бухгалтер. А где Наташа? Где девочка, которая могла на спор съесть три эклера? Которая ночью поехала на вокзал встречать мою маму, потому что я проспала? Которая рисовала эти свои акварели, такие... живые?

Наталья молчала. Слова Иры били точно в цель, и от каждого удара что-то внутри сжималось, но вместе с тем — странное дело — становилось легче. Как будто кто-то вскрыл нарыв.

— Ты права, — тихо сказала она.

— Я знаю, что права, — голос Иры смягчился. — И поэтому я тебя очень прошу: приди в пятницу. Хотя бы на час. Посмотри на других живых людей. Вспомни, что ты тоже живая.

— Я подумаю, — пообещала Наталья.

— Не подумай, а придешь, — отрезала Ира. — Я тебя записываю. Все, пока. Целую. Неси свой ужин.

Связь оборвалась.

Наталья убрала телефон в карман и пошла дальше. Ноги сами несли ее по знакомому маршруту — мимо палатки с шаурмой, мимо круглосуточной аптеки, мимо серого здания почты, где она сегодня платила за свет. Маршрут, который она проходила сотни раз. Маршрут без сюрпризов. Маршрут по клетке.

Но сегодня что-то было иначе.

Может быть, слова Иры. Может быть, стычка со свекровью. Может быть, тот странный, пугающий момент в спальне, когда она смотрела в зеркало и не узнавала себя. А может быть, все вместе — тяжелый ком, который наконец сдвинулся с места и теперь давил на диафрагму, заставляя дышать чаще.

«Ты исчезаешь», — сказала Ира.

«Вы меня терпите до самой смерти», — сказала она Тамаре Семеновне.

«Где Наташа?» — спросила Ира.

Наталья не знала ответа. Но она знала, что хочет его найти.

Офис Льва был в двадцати минутах ходьбы. Современное здание из стекла и бетона, которое казалось чужим среди старых пятиэтажек. Охранник на входе узнал ее — «жена Льва

Львовича», пропускал без вопросов. Холл был пуст в этот час, только дежурный свет горел на ресепшн, да лифт мерно гудел где-то в шахте.

Наталья вошла, и первое, что она увидела, был Лев.

Он стоял в холле у стойки, разговаривал с кем-то по телефону, и его лицо — усталое, но по-домашнему мягкое — вдруг вызвало в ней тот самый прилив нежности, который она так давно не чувствовала. Он был высоким, чуть сутулым, в простой серой рубашке с закатанными рукавами, и почему-то именно эта простота, эта обыденность — не костюм, не галстук, а именно рубашка, которую она сама гладила вчера — сделала его близким, родным.

Он заметил ее, улыбнулся, кивнул в телефонную трубку и быстро закончил разговор.

— Привет, — сказал он, подходя. — Ты пришла.

— Мама прислала ужин, — Наталья протянула пакет. — Там суп, котлеты, пирожки.

— Мама? — Лев усмехнулся. — Или ты?

— Сегодня она. Я только принесла.

Лев взял пакет, заглянул внутрь, покачал головой.

— Она меня кормит, как на убой, — сказал он беззлобно. — Спасибо, что принесла.

Он поставил пакет на стойку и вдруг посмотрел на нее внимательно, тем особенным взглядом, который иногда — редко, очень редко — прорывался сквозь будничную суету.

— Ты какая-то... — начал он и запнулся. — Что-то случилось?

Наталья хотела сказать «ничего», улыбнуться, пожать плечами — как делала всегда. Но сегодня слова Иры еще звучали в ушах, а холодный воздух еще не выветрился из легких, и что-то сдвинулось в ней настолько, что ложь застряла в горле.

— Твоя мама опять говорила про Светочку, — сказала она.

Лев поморщился.

— Наташ, ты же знаешь, она...

— Я знаю, — перебила Наталья. — Она любит тебя. Беспокоится. Хочет как лучше. Я все знаю. Я просто... устала.

Слово повисло в воздухе. Простое, короткое, оно вмещало в себя три года, три года ежедневной войны на чужой территории.

Лев молчал. Потом вздохнул, провел рукой по лицу — жест усталого, загнанного человека.

— Я знаю, — сказал он тихо. — Я вижу. И я... я пытаюсь что-то сделать. Но она же мать, Наташ. Я не могу ее выгнать.

— Я не прошу выгонять, — сказала Наталья. — Я просто хочу, чтобы ты... видел. Видел, как это.

— Вижу, — Лев поднял на нее глаза. В них была усталость, но была и искренность. — И я придумал кое-что.

Он оглянулся — в холле никого не было — и сказал, понизив голос:

— Мама после Нового года уезжает в санаторий. На две недели. Я уже купил путевку, это сюрприз для нее. И... — он помолчал, будто не решаясь, — мы сможем побыть одни. Как раньше.

Наталья смотрела на него, и в груди разливалось тепло. Две недели. Две недели без Тамары Семеновны. Без ее придинок, без ее взглядов, без вечного присутствия третьего человека в их спальне, на их кухне, в их жизни.

— Правда? — спросила она, и в голосе ее прозвучало что-то детское, доверчивое.

— Правда, — Лев улыбнулся. — Две недели. Только ты и я. Как в самом начале.

Наталья шагнула к нему, и он обнял ее — неловко, потому что между ними был пакет с ужином, но искренне. Она уткнулась лицом в его плечо, вдохнула знакомый запах — дешевый стиральный порошок, кофе, что-то еще, мужское, Львиное, — и почувствовала, как напряжение начинает отпускать.

«Может быть, все наладится», — подумала она. — «Может быть, еще не поздно».

— Наташ, — сказал Лев, отстраняясь. — Я сейчас. Только проект доделаю. Подождешь? Десять минут.

— Да, конечно, — она кивнула.

Он поцеловал ее в лоб, взял пакет и направился к лифту.

Наташья осталась в холле, согретая этим поцелуем, этой надеждой. Две недели. Как раньше. Она представила: утро, они просыпаются вместе, никто не хлопает дверью, не требует отчет о завтраке. Вечер, она готовит ужин — не для свекрови, а для него, для них. Можно включить музыку, ту, которую она любит, и не слышать ворчания: «Что за бесовщина?».

Она улыбнулась своим мыслям и отошла к окну. За стеклом все так же блестел мокрый асфальт, отражали фонари. Но теперь эти отражения не казались ей искаженными, размытыми. В них был свет.

Лифт мягко опустился на первый этаж, и двери разъехались.

Лев вышел, но не один.

Рядом с ним шла женщина. Высокая, в темно-синем платье, с идеальной укладкой и яркой, уверенной улыбкой. Она что-то говорила, и Лев слушал, склонив голову, с тем выражением внимания, которое Наташья знала — он так слушал, когда ему было по-настоящему интересно.

— ...так что проект приняли без правок, — донесся до Наташьи обрывок фразы. — Лев Львович, вы просто гений.

— Маргарита Игоревна, это командная работа, — ответил Лев, но в его голосе было удовольствие.

Маргарита. Наташья слышала это имя. Лев упоминал его мельком, вскользь: «Маргарита из головного офиса, очень толковый специалист». Ничего больше. Ничего, что могло бы подготовить ее к этому моменту.

Женщина — Маргарита Игоревна — заметила Наташью, и ее взгляд скользнул по ней быстро, оценивающе, с той легкой снисходительностью, которую Наташья научилась распознавать еще в школе, когда девочки из богатых семей смотрели на нее, дочку учительницы.

— О, — сказала Маргарита. — А это?

— Моя жена, — Лев слегка смутился. — Наташья, это Маргарита Игоревна, наш куратор из Москвы.

— Очень приятно, — Маргарита сделала шаг вперед и протянула руку. Наташья пожала ее — холодные, сильные пальцы. — Лев Львович столько о вас рассказывал.

Она сказала это так, как говорят вежливую ложь. Наташья знала: Лев не рассказывал. Лев вообще редко говорил о ней с коллегами.

— Взаимно, — ответила она, чувствуя, как в горле встает ком.

А потом случилось то, от чего у нее перехватило дыхание.

Маргарита повернулась к Льву и, совершенно естественно, будто имела на это полное право, положила руку ему на плечо. Длинные пальцы с безупречным маникюром легли на серую ткань рубашки, и этот жест — собственнический, интимный — был таким же естественным, как если бы она надевала на него свою вещь.

— Лев Львович, — сказала Маргарита, глядя на Льва с той мягкой, полувопросительной улыбкой, — вы обещали показать мне чертежи по нашему новому объекту. У вас есть минута?

Лев дернулся. Это было едва заметно — легкое движение плеча, сбрасывающего чужую руку, — но Наташья увидела. Он смущенно посмотрел на нее, потом на Маргариту.

— Да, конечно, — сказал он. — Наташ, подожди меня? Я быстро.

— Я подожду, — ответила Наташья, и голос ее прозвучал чужо, отстраненно.

Она смотрела, как они идут к лифту. Лев держал пакет с ужином в одной руке, другой нажимал кнопку. Маргарита шла рядом, что-то говорила, и ее смех — звонкий, уверенный — разнесся по пустому холлу.

Двери лифта закрылись.

Наталья осталась одна.

Она смотрела на окна. На втором этаже горел яркий, ровный свет — это был кабинет Льва. Она видела силуэты: он, она, они что-то рассматривают на столе, склонившись друг к другу.

Теплый свет из окна кабинета. И холодный, тусклый свет холла, где стояла она.

Рука на плече. Собственнический жест. «Столько о вас рассказывал», но не рассказывал, она знала.

Наталья прислонилась спиной к стене. Пакет с ужином, который она принесла, стоял на стойке ресепшн. Она смотрела на него и думала о том, что этот пакет — как она сама. Принесла, поставила, и о ней забыли. Есть дела поважнее. Проекты. Чертежи. Женщины с идеальной укладкой, которые умеют класть руку на плечо.

«Две недели», — подумала она. — «Как раньше».

Она вдруг поняла, что не знает, каким было «раньше». Кажется, она тоже не знала. Всегда были какие-то обстоятельства, какие-то «подожди», «я занят», «мама сказала». Раньше — это было обещание, которое так и не исполнилось.

Она посмотрела на свою руку. На обручальное кольцо — простое, золотое, которое они выбрали в ювелирном рядом с ЗАГСом. Она помнила, как Лев тогда сказал: «Это навсегда». И она поверила.

Она все еще хотела верить. Но в груди, там, где минуту назад разливалось тепло, теперь зияла холодная, пустая дыра. И в эту дыру заглядывал страх — тихий, липкий, похожий на тот линолеум в прихожей.

«Ты исчезаешь», — сказала Ира.

Наталья посмотрела на свое отражение в стеклянной двери. Бледное лицо, тусклые волосы, темные круги. За спиной — мокрый асфальт, отражения фонарей, искаженные, размытые.

Как картина, которая никогда не была ее.

Она вздохнула. Глубоко. Так, как учила себя там, в спальне, когда хотела открыть окно и впустить холод.

— Я подожду, — сказала она пустому холлу. — Я всегда жду.

Но внутри нее, в той холодной пустоте, что-то шевельнулось. Что-то, что не хотело ждать. Что-то, что помнило качели, ветер в ушах, свободное падение.

Что-то, что когда-то звалось Наташей.

Глава 2

Решение пришло не сразу.

Наталья простояла в холле еще минут двадцать, прислонившись спиной к холодной стене, наблюдая, как в окне кабинета на втором этаже движутся силуэты. Лев и Маргарита склонялись над столом, потом отходили к доске, снова возвращались. Разговор не прекращался. И чем дольше она ждала, тем отчетливее понимала: он забыл о ней. О том, что она здесь. О пакете с ужином, который остывает на стойке ресепшн. О «десяти минутах», которые превратились в полчаса.

Она могла бы подняться. Могла бы войти в кабинет, сказать: «Я здесь», напомнить о себе. Но что-то удерживало ее на месте. Может быть, тот холодный взгляд Маргариты, которым та окинула ее при встрече. Может быть, смущение Льва, когда чужая рука коснулась его плеча. А может быть, то, что она вдруг остро, до тошноты, почувствовала: здесь она лишняя. В этом здании из стекла и бетона, в этом холле с дежурным светом, в этой жизни, где есть проекты, чертежи, командировки и женщины с идеальной укладкой.

Она взяла телефон. На экране высветилось сообщение от Иры, отправленное полчаса назад: «Ну что? Осмелела? Жду в «Манхэттене». Будешь ныть — убью».

Наталья посмотрела на лифт. Потом на выход. Потом снова на телефон.

«Десять минут» прошли. Она никому ничего не должна. Не должна ждать, не должна терпеть, не должна быть удобной.

Она набрала сообщение: «Еду».

Ответ пришел мгновенно: «Ура! Я заказываю тебе самый большой бокал!»

Наталья убрала телефон, взяла со стойки пакет с ужином — Льву он, кажется, был не нужен — и направилась к выходу. На пороге она обернулась. Лифт по-прежнему стоял на втором этаже. В окне кабинета горел ровный, теплый свет.

— Передайте Льву Львовичу, — сказала она охраннику, — что ужин на стойке.

Охранник, пожилой мужчина с усталыми глазами, кивнул, не скрывая сочувствия. Он часто видел ее здесь. С пакетами. С терпеливым лицом. С опущенными плечами.

— Хорошо, Наталья Львовна. Передам.

Она вышла на улицу и вдохнула.

Ночь была холодной, прозрачной. Дождь кончился, ветер стих, и город замер в той особенной, предзимней тишине, когда каждый звук — шаги, далекий сигнал машины, лай собаки — кажется отчетливым, почти осязаемым. Наталья шла быстрым шагом, не глядя по сторонам, и чувствовала, как напряжение начинает отпускать с каждым шагом, с каждым глотком холодного воздуха.

«Манхэттен» находился в десяти минутах ходьбы от офиса Льва — модный бар в подвальном помещении, где всегда было шумно, дымно и пахло попкорном и дешевым виски. Наталья не любила это место. Слишком громко, слишкомлюдно, слишком много чужих, беспечных лиц. Но сегодня ей нужно было именно это — шум, который заглушит мысли, и люди, которые не будут задавать вопросов.

Ира ждала ее у входа. Высокая, яркая, в красном платье, с распущенными рыжими волосами, она была живым воплощением всего того, чем Наталья перестала быть. Подруга обняла ее крепко, и этот жест — уверенный, материнский — заставил Наталью на секунду закрыть глаза и позволить себе просто быть. Без защиты. Без брони.

— Ты пришла, — сказала Ира в ее волосы. — Я так рада.

— Я пришла, — глухо ответила Наталья.

— Идем. Ленка уже заняла столик. Будет весело.

Бар гудел. Музыка — что-то ритмичное, безымянное — пульсировала в стенах, в полу, в крови. Полумрак, цветные огни, лица, мелькающие в дыму. Наталья шла за Ирой, лавируя между столиками, и чувствовала себя инопланетянкой, попавшей на чужую планету. Слишком тихая. Слишком серая. Слишком правильная.

Ленка из бухгалтерии — круглолицая, веселая, уже изрядно навеселе — закричала, увидев ее:

— Натаха! Живая! А мы думали, ты нас бросила!

— Я здесь, — сказала Наталья, садясь на свободный стул.

— И правильно! — Ленка пододвинула к ней бокал. — Пей. Сегодня нельзя быть трезвой. У меня день рождения. Я официально старуха. Тридцать три года.

— Ты не старуха, — возразила Ира.

— Старуха, — кивнула Ленка. — И это повод выпить. Все пьют!

Наталья взяла бокал. Вино было терпким, сладковатым, и первый глоток обжег горло, но тепло, разлившееся по телу, было приятным. Она сделала еще глоток. Потом еще.

Вокруг нее смеялись, говорили, спорили. Кто-то жаловался на начальника, кто-то хвастался новым романом, кто-то рассказывал анекдот, который все уже слышали, но смеялись из вежливости. Наталья слушала краем уха, кивала, улыбалась, и чувствовала, как тяжесть, давившая на плечи, начинает понемногу таять. Не исчезать — таять, превращаясь в липкую, тягучую усталость, которая была почти счастьем.

— Ты чего такая грустная? — спросила Ленка, наклоняясь к ней. — У тебя все нормально?

— Все нормально, — ответила Наталья.

— Врешь, — сказала Ира, сидевшая напротив. — Но сегодня не надо правды. Сегодня надо пить и танцевать.

— Я не умею танцевать, — возразила Наталья.

— Раньше умела, — парировала Ира. — Раньше ты отплясывала так, что все мужики в радиусе ста метров падали в обморок. Помнишь?

Наталья помнила. Смутно, как чужую жизнь. Дискотеки в институте, вечеринки у Иры в общежитии, танцы до утра под музыку, которая тогда казалась вечной. Она помнила себя в коротком платье, с распущенными волосами, счастливую, свободную. Помнила, как Лев впервые увидел ее на такой вечеринке — и подошел, и сказал: «Ты танцуешь как богиня».

Теперь она не помнила, как танцевать. Тело отвыкло от ритма.

— Пошли, — Ира встала и протянула ей руку. — Не спорь. Я сказала: сегодня ты танцуешь.

И Наталья пошла. Не потому, что хотела. Потому что Ира не оставляла выбора. И потому что внутри, в той холодной пустоте, что-то шевельнулось — любопытство, воспоминание, страх, что если она сейчас откажется, то больше никогда не решится.

Музыка была громкой, басы били по ушам. Ира двигалась легко, уверенно, и Наталья сначала просто стояла, покачиваясь в такт, чувствуя себя неловкой и чужой. Но потом вино сделало свое дело, и тело начало вспоминать. Сначала плечи. Потом бедра. Потом руки, которые поднялись над головой, и волосы, которые рассыпались по спине, потому что она вытащила резинку, и это маленькое освобождение — волосы, падающие на плечи — показалось ей самым важным.

— Вот! — закричала Ира, перекрывая музыку. — Вот она! Я же говорила!

Наталья улыбнулась. Настоящей улыбкой, которую не надо было выдавливать. И танцевала. Танцевала так, как не танцевала три года. Не красиво, не правильно, а просто — как чувствовала. И чувствовала она сейчас только одно: легкость.

Но легкость была обманчивой.

Она выпила еще. И еще. Вино смешалось с чем-то крепким, что подсунула Ленка, и мысли, которые она так старательно глушила, стали расплываться, терять очертания. Это было хорошо. Это было то, зачем она пришла. Забыться. Отключиться. Не думать о руке на плече. О чужой улыбке. О пакете с ужином, оставленном на стойке.

— Натаха, — Ира вдруг оказалась рядом, обеспокоенная, — ты как? Может, хватит?

— Нормально, — сказала Наталья. — Я в норме.

— Ты плачешь, — сказала Ира.

Наталья поднесла руку к лицу. Щеки были мокрыми. Она не заметила, когда это случилось. Не почувствовала, как слезы потекли. Они просто были — как дождь, который идет сам по себе, без ее ведома.

— Я не плачу, — сказала она и вытерла лицо ладонью. — Это от дыма.

— Пойдем, выйдем, — Ира взяла ее за руку. — Подышим.

Они вышли на улицу, в холод. Ночь стала еще темнее, еще прозрачнее. Наталья прислонилась к стене, закрыла глаза. Голова кружилась.

— Скажи мне, — Ира стояла напротив, скрестив руки на груди. — Что случилось?

— Ничего.

— Наташа.

Это имя — Наташа, а не Наталья — прозвучало как удар. Наталья открыла глаза. Ира смотрела на нее в упор, и в этом взгляде не было жалости. Было требование. Правды.

— Я не знаю, — сказала Наталья. — Я просто... я не знаю.

— Это он? — спросила Ира. — Лев? Что-то случилось?

— Нет. То есть да. Не знаю. — Наталья провела рукой по лицу, пытаясь собрать мысли в кучу. — Там была женщина. В офисе. Маргарита. Она положила руку ему на плечо. Как... как будто имела на это право.

Ира молчала. Потом спросила:

— А он?

— Он отстранился. Смутился. Но... он смотрел на нее. Так, как давно не смотрит на меня.

Слова падали тяжело, как камни. Наталья слышала их и не верила, что говорит это вслух. Она никогда не говорила это вслух. Даже себе.

— Наташа, — Ира взяла ее за плечи. — Слушай меня. Ты не обязана это терпеть. Ничего из этого. Ни его мать, ни его ужины, ни его командировки. Ты — человек. Ты имеешь право на свою жизнь.

— Я знаю.

— Тогда почему ты все еще там?

Наталья не ответила. Потому что у нее не было ответа. Или ответов было слишком много. И все они были неправильными.

Они еще какое-то время стояли на улице, молчаливые, прижавшись друг к другу. Ира не задавала больше вопросов. Она просто была рядом — теплая, надежная, как стена, о которую можно опереться, когда ноги подкашиваются.

— Давай я провожу тебя? — спросила Ира.

— Нет, — Наталья покачала головой. — Я сама. Мне нужно... подумать.

— Позвони, если что.

— Позвоню.

Они обнялись. Ира пахла ванилью и сигаретами — запахом свободы, которую Наталья когда-то знала, но потеряла. Она вдохнула этот запах глубоко, как тогда, на крыльце, вдохнула холодный воздух, и пошла.

Ноги несли ее сами. Город спал. Фонари горели тусклым, желтым светом, и в этом свете все казалось призрачным, ненастоящим. Она шла и думала. Думала о том, что Ира права. Что она действительно исчезает. Что три года она была не Наташей, а функцией — женой,

невесткой, бухгалтером. Что она разучилась танцевать, смеяться, хотеть. Что единственное желание, которое у нее осталось — это спать. Спать и не просыпаться.

Она подошла к офису Льва почти машинально. Здание было темным, только дежурный свет горел на первом этаже. Охранник на входе — тот же, что и раньше — кивнул ей.

— Лев Львович ушел, — сказал он. — Часа два назад.

Наталья замерла.

— Ушел? — переспросила она.

— Да, сразу после того, как вы... ну, после того, как я передал ему ужин. Он сказал, что устал и поедет домой. Это было около девяти.

Сейчас было начало первого.

Наталья посмотрела на часы. Двенадцать тридцать. Лев ушел в девять. Четыре часа назад. Домой. А она здесь. С пакетом, который так и не пригодился.

— Спасибо, — сказала она охраннику и пошла дальше.

Телефон. Надо позвонить. Она набрала номер Льва. Длинные гудки. Один. Два. Три. Десять. Сброс.

Набрала снова. Сброс.

Еще раз. Еще.

На четвертый раз трубку сняли.

— Алло, — голос Льва был глухим, сонным.

— Лев, это я. Ты где?

— Дома. Сплю. А ты где?

— Я... у Иры была.

— А, — в голосе Льва не было ни интереса, ни беспокойства. — Понятно. Ты когда будешь?

— Скоро.

— Ладно. Спи.

Он отключился. Наталья смотрела на погасший экран и чувствовала, как что-то внутри нее сжимается. Не боль. Что-то другое. Более холодное.

Она шла домой медленно, растягивая путь, будто знала, что ждет ее там. Двор, детская площадка, пустые качели. Лифт не работал — как всегда по ночам. Пятый этаж. Ступеньки, знакомые до боли. Дверь.

Ключ повернулся в замке с тихим, жалобным скрипом.

В прихожей горел свет. И Тамара Семеновна стояла в коридоре, поджав губы, сжимая в руке пульт от телевизора, как оружие.

— Двенадцать сорок пять, — сказала она, не здороваясь. — Ты хоть знаешь, который час?

Наталья разулась. Молча. Пальто повесила на крючок. Молча.

— Я с тобой разговариваю! — голос свекрови стал выше. — Ты где шаталась? Я звоню Льву — он не берет. Потом говорит, спит. А где ты была? С кем? Опять с этой своей Ирккой? С гулящей?

— Тамара Семеновна, — Наталья повернулась к ней, и голос ее прозвучал ровно, но в этом ровном тоне было что-то, от чего свекровь невольно сделала шаг назад. — У меня был тяжелый день. Я не хочу ссориться.

— Ссориться? — взвилась свекровь. — Это ты называешь ссорой? Я тут одна, как перст, весь вечер, а она — ссориться! Лев пришел — ужин не ел, сказал, что голова болит. А ты, значит, гуляешь! В баре, небось, с подружками, пока муж дома один, голодный, больной...

— Лев был в офисе до девяти, — перебила Наталья. — И ужин я ему приносила. Он сам решил не есть.

— Ой, не надо мне тут! — Тамара Семеновна махнула рукой. — Я знаю, что за ужин ты ему приносила! Остывший, небось. И вообще, если бы ты нормально готовила, он бы и ел с удовольствием. А так — что ему, мать вспомнить?

Наталя не ответила. Она прошла в гостиную, и свекровь — не унимаясь — двинулась за ней, продолжая говорить, сыпать упреками, припоминать все — и недосоленный суп, и забытые продукты, и «этот твой интернет, в котором ты сидишь вместо дела». Слова летели, как пули, но Наталя уже не слышала их. Она слышала другое. Тишину.

Из спальни доносилось ровное, тяжелое дыхание. Лев спал.

Она подошла к двери, приоткрыла ее. В комнате было темно, только уличный свет пробивался сквозь неплотно задернутые шторы. Лев лежал на спине, раскинув руки, и дыхание его было глубоким, мерным, тем особенным сном, который бывает после хорошей дозы алкоголя.

Наталя подошла ближе. В комнате пахло — чем-то кислым, перегаром. Лев выпил. Не «немного», как он сказал по телефону. Он выпил много. Она знала этот запах — нечастый, но знакомый. Лев редко пил, но если пил, то засыпал мгновенно и спал мертвым сном.

Она села на край кровати, глядя на его лицо. В темноте оно казалось чужим, незнакомым. Она вдруг подумала: а что, если она ошиблась? Что, если ничего нет? Что, если Маргарита — просто коллега, а рука на плече — просто жест, которому она придала слишком много значения? Что, если Лев действительно устал, выпил с коллегами, пришел домой и уснул, и все это — ее паранойя?

Она наклонилась ближе. И замерла.

Запах перегара перебивал что-то еще. Что-то тонкое, сладковато-приторное. Духи. Чужие духи.

Наталя задержала дыхание, прислушиваясь к запаху. Это были не те духи, что у Маргариты. У той, в офисе, пахло дорогим, холодным ароматом — бергамот, сандал, что-то горьковатое. Этот запах был другим. Дешевым. Приторно-цветочным. Почти подростковым. От него пахло рынком, переходами метро, маленькими магазинчиками косметики, где продают флакончики с яркими наклейками.

Этот запах был неправильным.

Слишком дешевым для женщины, которая крутится в кругах Льва. Слишком навязчивым для случайного контакта. И он вьелся в одежду — не просто коснулся, а пропитал ткань, как будто тот, кто носил эти духи, был близко, очень близко, долгое время.

Наталя отодвинулась. Руки ее дрожали. Она смотрела на спящего мужа и чувствовала, как земля уходит из-под ног. Не от ревности. От непонимания. Если Маргарита — понятно. Успешная, красивая, своя. Но эти духи... Кто? Откуда? Почему?

— Лев, — позвала она тихо. — Лев, проснись.

Он не отреагировал.

— Лев, — громче. — Нам нужно поговорить.

Он заворочался, нахмурился во сне, пробормотал что-то невнятное.

— Что? — выдохнул он, не открывая глаз.

— Откуда эти духи? — спросила Наталя. — На твоей одежде.

Лев молчал. Потом, не открывая глаз, отмахнулся.

— Не выдумывай, — прошептал он. — Спать хочу.

— Лев!

— Наташ, прекрати, — он перевернулся на бок, спиной к ней. — Завтра. Все завтра.

Он натянул одеяло на голову, и через минуту дыхание его снова стало ровным, глубоким.

Наталя сидела на краю кровати, глядя на его спину, и не узнавала этого человека. Три года назад он не мог уснуть, не поцеловав ее. Три года назад он звонил, если задерживался. Три года назад он пах только им — дешевым стиральным порошком и кофе, и иногда — ее духами, потому что обнимал так крепко, что запах въедался в его свитера.

Теперь он пах чужим.

Она встала. Ноги были ватными, голова тяжелой — вино, усталость, этот чужой запах. Она вышла из спальни, закрыла за собой дверь. В коридоре было темно. Тамара Семеновна, устав ждать, ушла к себе, оставив в прихожей гореть свет — как упрек. «Ты пришла поздно, а я за тебя свет плачу».

Наталья прошла в гостиную. Диван, на котором она спала в прошлой жизни — в те редкие дни, когда ссоры со свекровью достигали пика, и она не могла находиться с ней в одной комнате. Диван был жестким, продавленным, и пахло от него старой тканью и пылью.

Она легла, не раздеваясь. В темноте гостиной было тихо. Только часы на стене мерно отсчитывали секунды. И где-то в глубине квартиры, из спальни, пробивалась полоска света — Лев забыл выключить настольную лампу. Полоска лежала на полу, тонкая, желтая, разделяя пространство на две половины: там, за дверью, свет, и там, на диване, темнота.

Она смотрела на эту полоску и думала о том, как оказалась здесь. В чужой квартире, на чужом диване, жена чужого мужчины. Она чувствовала себя призраком, который застрял между мирами — между той Наташей, что танцевала под дождем, и этой, бледной, исчезающей.

Запах чужих духов въелся в ноздри. Она чувствовала его даже здесь, в гостиной, даже спустя полчаса. Он был везде. В ее волосах, на ее коже, в ее мыслях.

Она закрыла глаза и попыталась уснуть. Но сон не шел. В голове крутились обрывки: рука на плече, улыбка Маргариты, голос Иры «ты исчезаешь», дешевый цветочный аромат, который не имел права быть здесь, на его рубашке, в его постели.

«Завтра», — сказал он. «Все завтра».

Но она знала: завтра ничего не будет. Завтра он проснется, улыбнется, поцелует ее в лоб, и сделает вид, что ничего не случилось. А она сделает вид, что поверила. Потому что так легче. Потому что правда страшнее лжи.

Она перевернулась на бок, поджала колени к груди, и в этой позе — маленькой, сжавшейся — почувствовала себя той самой девочкой, которая боялась темноты и звала маму. Но мама была далеко. Ира была далеко. Даже Лев, который спал в двух шагах, был далеко — за полоской света, за дверью, за тремя годами молчаливой войны, которую она проигрывала.

Слезы пришли снова, но она не вытирала их. Пусть текут. Пусть. В темноте никто не увидит.

Утро началось с запаха кофе.

Наталья открыла глаза и не сразу поняла, где находится. Жесткий диван, чужое одеяло, запах — и этот запах вернул ее в реальность быстрее, чем любой будильник. Она села. Голова болела. Вино давало о себе знать тупой, ноющей болью в висках.

На кухне гремела посудой Тамара Семеновна. Из спальни доносился шум душа — Лев проснулся.

Наталья встала, накинула халат и пошла в ванную. В зеркале отразилось знакомое лицо — бледное, с опухшими глазами, с темными кругами. Она долго смотрела на себя, пытаясь найти в этом отражении ту Наташу, что танцевала вчера в баре. Ту, что на секунду почувствовала легкость. Та исчезла. Осталась только эта — уставшая, покорная, с прилипшей к щеке прядью волос.

Она умылась холодной водой, причесалась, завязала волосы в пучок. Ритуал. Каждое утро один и тот же. Как будто если делать все правильно, можно вернуться в правильную жизнь.

На кухне Лев уже сидел за столом. Он был выбрит, свеж, в чистой рубашке, и улыбнулся ей, когда она вошла.

— Доброе утро, — сказал он, и голос его был ровным, спокойным. Как будто ночью ничего не случилось.

— Доброе, — ответила Наталья, садясь напротив.

Тамара Семеновна, стоявшая у плиты, бросила на нее быстрый взгляд, полный торжества. «Видишь, — говорил этот взгляд. — Я говорила. Он нормальный. Это ты ненормальная».

— Кофе? — спросила Наталья у Льва.

— Да, пожалуйста.

Она встала, налила ему кофе, себе — чай. Движения автоматические, как всегда. Но внутри все кипело. Вопросы рвались наружу, но она их гасила, один за другим. Не сейчас. Не при матери.

Лев пил кофе, смотрел в телефон, улыбался чему-то. Потом поднял глаза.

— Ты вчера рано ушла, — сказал он, и в голосе не было упрека. Констатация факта.

— Ты сказал «десять минут», — ответила Наталья. — Я ждала полчаса. Потом ушла.

Лев поморщился.

— Да, прости. Маргарита пришла, начали обсуждать проект. Я не заметил, как время пролетело.

Маргарита. Имя прозвучало легко, естественно, как будто ничего не значило. Наталья смотрела на его лицо, искала что-то — тень, фальшь, хоть что-то. Но он был спокоен. Абсолютно спокоен.

— Ты вчера выпил, — сказала она.

— Немного, — Лев пожал плечами. — Отметили удачный этап проекта. Коллеги предложили, я не отказался. Ты же знаешь, я редко пью.

— Я знаю.

Она хотела спросить про запах. Про духи. Но слова застряли в горле. Как это спросить? «От кого пахнет дешевыми цветами?» Звучит как бред. Как паранойя. Как сцена ревности, которую Тамара Семеновна с радостью раздует на весь дом.

— Ты вчера поздно пришла, — вступила свекровь, ставя на стол тарелку с яичницей. — Мы с Львом волновались.

— Я была у Иры, — ответила Наталья. — У Ленки день рождения.

— У Иры, — повторила Тамара Семеновна с выражением, будто имя подруги было ругательством. — Ну да, эта твоя Ира... Хорошая компания.

— Мам, — Лев бросил на мать быстрый, предостерегающий взгляд. — Не начинай.

— Я ничего, — Тамара Семеновна поджала губы. — Я просто говорю. Жена должна быть дома, а не шататься по барам. Тем более в будний день.

— У Ленки был день рождения, — повторила Наталья, и голос ее стал жестче. — Я имею право иногда видеться с подругами.

— Конечно, имеешь, — Лев накрыл ее руку своей. — Мама просто беспокоится. Ты же поздно вернулась.

Его рука была теплой, сухой. Он сжал ее пальцы, и это движение — привычное, успокаивающее — заставило Наталью на секунду поверить, что все хорошо. Что она накрутила себя. Что нет никаких духов. Что запах ей показался.

— Я устала, — сказала она, высвобождая руку. — Плохо спала.

— На диване? — свекровь приподняла бровь. — А почему не в спальне? Опять поссорились?

— Мы не ссорились, — ответил Лев. — Наташа просто поздно пришла, не хотела меня будить.

Он сказал это так спокойно, так уверенно, что Наталья на мгновение засомневалась: а было ли что-то? А может, она действительно пришла поздно, а он действительно спал, и запах — просто наваждение?

Она посмотрела на его рубашку. Чистая, свежая. Та, что он снял вчера, была в корзине для белья. Она могла бы проверить. Могла бы найти ее и убедиться. Но что это даст? Подтвердит то, что она боится узнать?

— Наташ, — Лев встал, поцеловал ее в лоб. — Не слушай маму, она просто беспокоится. Фраза, знакомая до боли. Он говорил это каждый раз, когда напряжение между ней и свекровью достигало пика. Каждый раз. Как мантру. Как волшебное заклинание, которое должно было сделать все хорошо.

Но сегодня эти слова прозвучали иначе. Как издевка. Как будто он говорил: «Не обращай внимания на то, что тебя унижают. Это ради твоего же блага».

Она посмотрела на него. Он уже надевал пиджак, собирался на работу. Такой привычный, такой родной, и такой чужой одновременно.

— Я сегодня задержусь, — бросил он уже с порога. — Проект сдаем. Не жди.

Дверь закрылась. Щелкнул замок. И в квартире снова остались только две женщины — та, что правила, и та, что подчинялась.

Тамара Семеновна убирала со стола, бросая на Наталью короткие, торжествующие взгляды.

— Не слушай маму, она просто беспокоится, — передразнила она тон Льва. — Умный мальчик. Все понимает. А ты, смотрю, опять недовольна. Опять нос воротишь. Лучше бы радовалась, что муж есть, квартира есть, работа. Не все такие счастливые.

Наталья не ответила. Она допила чай, поставила чашку в мойку, пошла одеваться. Мысли были липкими, тяжелыми. Запах чужих духов преследовал ее. Она знала, что должна проверить рубашку. Должна убедиться. Но ноги не несли в ванную, где стояла корзина для белья.

«Потом», — сказала она себе. — «Вечером».

Работа ждала. Офис, компьютер, цифры. Ее жизнь, в которой все было понятно, предсказуемо, безопасно. Там, в офисе, не было чужих духов и подозрительных запахов. Там были только отчеты, таблицы, дебет с кредитом.

Она вышла из дома, когда Тамара Семеновна уже включила телевизор и устроилась в кресле смотреть «Жди меня». Программа, в которой искали пропавших людей. Наталья подумала: а если она пропадет, будут ли ее искать? Или просто скажут: «Ушла, и хорошо, одной проблемой меньше»?

В офисе было тихо. Коллеги, еще не проснувшиеся после вчерашнего, пили кофе и обсуждали новости. Наталья села за свой стол, включила компьютер. Рабочий день начался как обычно — письма, звонки, отчеты.

Но голова была занята другим.

Она открыла чистый лист в блокноте, собиралась записать рабочие данные, и вдруг, сама не заметив как, начала рисовать. Сначала линию. Потом другую. Потом овал, изгиб, еще один. Через минуту она смотрела на сломанную вазу.

Рисунок получился сам собой, без мысли, без усилия. Ваза была красивой — высокой, стройной, с изящным узором. Но она лежала на боку, разбитая на крупные осколки. И из трещины, как из раны, вытекала вода — тонкая, прозрачная, почти невидимая.

Наталья смотрела на рисунок и чувствовала, как что-то сжимается в груди. Это была она. Эта ваза. Красивая когда-то, но теперь разбитая, пустая, и вода утекает, и склеить ее невозможно, потому что осколки не складываются в прежнюю форму.

— Это ты нарисовала? — над ухом раздался голос коллеги, Светы из соседнего отдела. — Красиво. Ты рисуешь?

— Нет, — Наталья быстро захлопнула блокнот. — Просто так.

— А жалко. У тебя талант. Раньше ведь рисовала, да? Я помню, ты на корпоративе открытки делала. Очень красивые.

— Давно, — сказала Наталья. — Это было давно.

Света пожала плечами и ушла. Наталья сидела, глядя на закрытый блокнот, и чувствовала, как внутри поднимается что-то темное, вязкое. Талант. Рисование. То, что она когда-то

любила. То, что она оставила, потому что «зачем тебе это, лучше займись домом», как сказала Тамара Семеновна в первый же месяц замужества.

Она отодвинула блокнот. Работа. Надо работать.

Но телефон завибрировал. Ира.

— Ну как ты? — спросила подруга без предисловий.

— Нормально.

— Врешь.

— Немного.

— Натаха, — Ира вздохнула. — Я тебя умоляю. Хватит быть тряпкой. Ты что, так и будешь всю жизнь терпеть? И мать его, и его командировки, и эти твои вечные ужины?

— Ир, я на работе.

— Знаю. Потому и звоню, пока он не слышит. Слушай меня. Запишись хоть на йогу. Или на рисование. Вспомни, что ты человек. Найди что-то для себя. Хоть что-то.

— Я подумаю.

— Не подумай, а сделай. Я тебе запись нашла. Студия «Акварель» на Ленина. Там по вечерам занятия. Хороший преподаватель, Виктория. Я тебя записала на пятницу. Придешь.

— Ира...

— Придешь, Наташа. Иначе я приеду и лично тебя притащу. Все. Пока.

Ира отключилась. Наталья смотрела на экран, и в груди, там, где была пустота, вдруг шевельнулось что-то похожее на надежду. Рисование. Студия. Может быть... может быть, это то, что ей нужно.

Она открыла блокнот. Сломанная ваза смотрела на нее с бумаги. Наталья взяла ручку и провела линию — новую, уверенную, от осколка вверх, превращая его в стебель. А на конце стебля нарисовала бутон.

Маленький. Закрытый. Но живой.

Она смотрела на этот бутон и думала о том, что, может быть, не все потеряно. Может быть, даже из осколков может вырасти что-то новое.

Но вечером все изменилось.

Лев позвонил в шесть. Голос его был бодрым, как всегда.

— Задержусь, — сказал он. — Проект горит. Не жди.

— Хорошо, — ответила Наталья.

Она положила трубку и почувствовала, как внутри что-то щелкнуло. Как замок. Как предохранитель. Как механизм, который включился сам собой.

Она не поехала домой. Она пошла в офис.

Не к Льву. Нет. К корзине для белья, которая стояла в подсобке, куда он складывал вещи, когда оставался ночевать на работе.

Она не знала, зачем идет. Знала. Знала, что должна проверить. Что не сможет спать, не узнав. Что запах чужих духов будет преследовать ее до тех пор, пока она не убедится: ей показалось.

В офисе было пусто. Охранник пропустил ее без вопросов — привык, что она иногда приходит к мужу. Она поднялась на второй этаж, прошла в подсобку. Корзина для белья стояла в углу, рядом с диваном, на котором Лев иногда спал.

Она открыла корзину. Сверху лежала его вчерашняя рубашка — серая, простая, та самая, в которой он был вчера.

Руки дрожали, когда она брала ее. Ткань была холодной, мятая. Наталья поднесла рубашку к лицу и вдохнула.

Перегар. Кофе. Табак. И — цветы. Сладковато-приторный, дешевый аромат, въевшийся в воротник, в манжеты, в ткань на груди.

Она перевернула рубашку. И замерла.

На воротнике, с внутренней стороны, там, где ткань касается шеи, было пятно. Яркое, помадное. Чужое.

Не ее. У нее помада была нежно-розовой, почти прозрачной — «не вызывающей», как сказала Тамара Семеновна, когда они выбирали ее в магазине. Эта помада была алой, насыщенной, кричащей. Она оставила четкий отпечаток — женских губ, уверенных, целующих.

Наталья смотрела на это пятно, и мир вокруг нее переставал существовать. Не было подсобки, не было офиса, не было города. Был только этот отпечаток — яркий, чужой, на белой ткани, на воротнике его рубашки, на его шее, на его теле, на его жизни.

Она стояла так, наверное, минуту. Может, пять. Может, час. А потом, очень медленно, положила рубашку обратно в корзину. Аккуратно. Как будто ничего не случилось.

Она вышла из подсобки, спустилась на первый этаж, кивнула охраннику. Вышла на улицу.

Ночь снова была холодной. Но теперь холод проник внутрь, в самое сердце, и там, где когда-то было тепло, теперь зияла пустота. Не боль. Не гнев. Пустота.

Она шла по улице, и шаги ее были ровными, размеренными. Она думала о том, что должна что-то чувствовать. Должна плакать, кричать, звонить, требовать объяснений. Но она ничего не чувствовала. Только пустоту.

Дома Тамара Семеновна, конечно, ждала с новыми упреками. Но Наталья не слышала их. Она прошла в спальню, разделась, легла на свою сторону кровати.

Лев пришел поздно. Она слышала, как он вошел, как говорил что-то матери, как мылся, как потом лег рядом. Она чувствовала его тепло, его дыхание. Но не повернулась. Не заговорила.

— Наташ? — позвал он тихо. — Ты спишь?

Она молчала.

Он вздохнул, повернулся на другой бок, и через минуту заснул.

Наталья лежала в темноте, глядя в потолок, и думала. Думала о том, что видела. О ярком пятне на белой ткани. О чужом запахе. О чужой улыбке. О чужой руке на его плече.

А потом она встала, тихо, чтобы не разбудить, прошла в ванную и посмотрела в зеркало.

На нее смотрела чужая женщина. Бледная, с пустыми глазами, с тусклыми волосами. Женщина, которая не помнит, когда в последний раз смеялась. Женщина, которая не помнит, когда в последний раз рисовала. Женщина, которая не помнит себя.

«Ты исчезаешь», — сказала Ира.

И сейчас, глядя в зеркало, Наталья поняла: она уже исчезла. Исчезла так давно, что не помнит, какой была. А вместо нее здесь, в этом доме, в этой жизни, живет кто-то другой. Кто-то покорный, тихий, удобный.

Она подняла руку и провела пальцем по стеклу. Зеркало было холодным. Стекло дрожало под пальцем, искажая отражение.

— Где ты? — спросила она у женщины в зеркале. — Где Наташа?

Женщина не ответила. Только смотрела пустыми глазами, и в этих глазах не было ничего. Ни надежды. Ни страха. Ни боли.

Только пустота.

Наталья опустила руку. Повернулась. Пошла обратно в спальню, легла на свою сторону кровати, закрыла глаза.

Она не спала. Она просто лежала, слушая, как дышит рядом муж, и чувствуя, как внутри нее, в той пустоте, что-то умирает. Или, может быть, наоборот — рождается заново.

Она не знала.

Она ничего не знала.

Только одно было ясно: та жизнь, которую она жила, закончилась. Сегодня. В тот момент, когда она увидела яркое пятно на белой ткани.

И новая жизнь — какая бы она ни была — только начиналась.

Глава 3

Торжественный ужин назначили на субботу. Тамара Семеновна готовилась к нему, как к балу: достала хрусталь из серванта, начистила его до звона, переставила мебель в гостиной, чтобы «просторнее было», и трижды меняла скатерть — сначала белую, потом голубую, потом снова белую, потому что «голубая не торжественная».

Наталья помогала механически. Резала салаты, чистила картошку, мыла посуду — и все это делала так, будто смотрела на себя со стороны. Ее руки двигались сами, лицо улыбалось, когда нужно, голос говорил правильные слова. Но внутри была пустота. Та самая, что поселилась там в ночь, когда она нашла отпечаток чужой помады на воротнике его рубашки.

Она не сказала ни слова. Ни тогда. Ни на следующий день. Ни через неделю.

Каждое утро она просыпалась, смотрела на спящего Льва, и чувствовала, как пустота разрастается, заполняя собой все — грудь, горло, голову. Она ждала, что он сам скажет. Что заметит ее отстраненность. Что спросит: «Что случилось?». Но он не замечал. Или делал вид, что не замечает. Или ему было все равно.

Сейчас, стоя у плиты и помешивая соус для мяса, она думала о том, как странно устроена жизнь. Три года она пыталась быть идеальной невесткой — готовила, убирала, терпела. Три года она надеялась, что если будет достаточно стараться, то Тамара Семеновна наконец примет ее. Три года она верила, что Лев ее любит. А теперь, когда она узнала правду — или часть правды — она продолжала делать то же самое. Готовила. Убирала. Терпела.

— Соус не подгорит? — Тамара Семеновна возникла за спиной, как призрак. — Ты помешивай чаще. Лев любит, чтобы соус был однородный.

— Я помешиваю, — ответила Наталья.

— А чего тогда стоишь? Салат уже нарезала?

— Да.

— А свеклу натерла? Под шубу?

— Натерла.

— А...

— Тамара Семеновна, — Наталья повернулась к свекрови, и в голосе ее прозвучало что-то, чего та не ожидала — не раздражение, не усталость, а спокойная, ледяная вежливость, — все готово. Мясо в духовке, салаты в холодильнике, стол накрыт. Можете не волноваться.

Свекровь прищурилась. Что-то в поведении невестки изменилось за последнюю неделю, и это что-то Тамаре Семеновне не нравилось. Раньше Наталья либо молчала, либо взрывалась, а теперь — эта пугающая ровность. Как будто она стала стеклянной. Прозрачной. Непробиваемой.

— Ладно, — сказала свекровь, решив не связываться перед праздником. — Смотри, чтобы все было на уровне. У нас не просто ужин, а проводы. Я на целых две недели уезжаю. Лев останется на твоём попечении.

— Я помню.

Тамара Семеновна еще раз окинула кухню критическим взглядом и вышла. Наталья осталась одна. Она выключила плиту, поправила воротник — надела сегодня белый свитер, в котором не ходила уже года два, потому что «белое быстро пачкается, ты же по дому». Но сегодня она надела. Пусть пачкается.

В зеркале над раковиной отразилось ее лицо. Она долго смотрела на него, пытаясь найти ту себя, прежнюю, которая умела смеяться. Не нашла. Вместо этого она увидела другое — как натянута ее улыбка. Как мышцы лица напряжены, удерживая эту улыбку на месте. Как неестественно изогнуты губы.

Она попробовала убрать улыбку. Лицо стало спокойным, чуть усталым — и это было честнее. Но нельзя. Сегодня нельзя. Сегодня она должна быть счастливой невесткой, которая радуется отъезду свекрови (или хотя бы делает вид, что расстроена). Она снова натянула улыбку. Мышцы заныли.

Мышечный спазм. Вот что это было. Не радость, не веселье, а просто спазм — как судорога в ноге, когда долго сидишь в неудобной позе.

— Наташ, — Лев заглянул на кухню. — Ты как?

— Нормально.

Он подошел, обнял ее со спины, поцеловал в макушку. Жест был теплым, привычным, но Наталья не почувствовала ничего. Только запах — его одеколон, чистый, свежий. Не тот, чужой, дешевый. Но от этого не легче.

— Ты сегодня красивая, — сказал он. — Белый тебе идет.

— Спасибо.

— Мама уезжает, — он говорил тихо, чтобы не услышали в гостиной. — Две недели только мы. Как раньше.

«Как раньше», — повторила про себя Наталья. Она уже не верила в это «как раньше». Раньше не было отпечатка помады на воротнике. Раньше не было женщины, которая кладет руку на плечо с правом собственности. Раньше она не знала, что он может врать так легко, так естественно.

— Да, — сказала она. — Как раньше.

Он сжал ее плечи и вышел. Наталья осталась у плиты, глядя в одну точку. В голове было пусто. И в груди пусто. И только улыбка, натянутая на лицо, жила своей жизнью — механической, ненужной, как маска на карнавале.

Гости собрались к семи. Кроме Тамары Семеновны и Льва с Натальей, пришли тетя Валя — сестра свекрови — и ее муж дядя Витя. Люди были простые, добрые, и Наталья их искренне любила. Тетя Валя всегда приносила домашние пирожки и никогда не лезла в душу. Дядя Витя рассказывал анекдоты и называл Наталью «дочка».

— А вот и наша хозяйюшка! — воскликнула тетя Валя, когда Наталья вышла из кухни с салатом. — Красавица! Замоталась совсем, да? А ты отдохни, пока Тамара уедет. Хоть две недели покоя будет.

— Она у нас замотанная, — вставила Тамара Семеновна, поправляя салфетки. — Дом, работа, муж. Не до отдыха ей.

— Ну, две недели без тебя, Тома, она отдохнет, — засмеялся дядя Витя. — А то ты у нас командир.

— Я не командир, — обиделась свекровь. — Я забочусь. Если бы не я, кто бы за ними смотрел? Лев с утра до ночи на работе, а она...

— А она молодец, — твердо сказала тетя Валя, перебивая сестру. — Все успевает. И готовит вкусно. Я вот помню, на Новый год какой салат она сделала... Пальчики оближешь.

Наталья улыбнулась тете Вале благодарно. Настоящей улыбкой, на секунду. И тут же почувствовала, как маска возвращается на место — мягкая, резиновая, с нужным изгибом губ.

— Садитесь за стол, — сказала она. — Сейчас мясо достану.

Ужин начался чинно, как всегда. Тамара Семеновна восседала во главе стола — ее законное место, подчеркивающее статус хозяйки дома. Лев сидел справа от матери, Наталья — слева. Тетя Валя с дядей Витей напротив. Свекровь говорила много, как всегда. О санатории, где будет отдыхать, о процедурах, которые ей прописали, о врачах, которые «такие внимательные, не то что в нашей поликлинике».

— Две недели, — мечтательно говорила она, поддевая вилкой кусочек мяса. — Две недели покоя. А то замучилась я с вами.

— С нами? — Лев улыбнулся. — Это мы с тобой, мама, замучились. Ты нас пилишь каждый день.

— Я пилю? — Тамара Семеновна притворно возмутилась. — Это я-то пилю? Это я забочусь! А если бы не я, вы бы тут...

— Знаем-знаем, — перебил дядя Витя. — Ты, Тома, всегда права. Давай лучше выпьем за твоё здоровье!

Выпили. Заговорили о другом. Наталья сидела, слушала, кивала, подкладывала гостям еду. Играла роль. И роль эта давалась ей легко — она играла её три года. Но сегодня было особенно тяжело. Потому что сегодня, за этим столом, она чувствовала себя не просто невесткой, играющей счастливую семью. Она чувствовала себя актрисой в спектакле, который никто не смотрит. Все заняты своими ролями. Тамара Семеновна играет заботливую мать, Лев — любящего сына и мужа, тетя Валя с дядей Витей — благодушных родственников. А она? Она играет жену, у которой все хорошо. У которой нет отпечатка помады на воротнике мужниной рубашки. У которой нет подозрений. У которой нет пустоты в груди.

Лев сидел рядом, иногда касался её руки, иногда улыбался ей. И Наталья смотрела на его улыбку и пыталась понять: это тоже игра? Или он действительно верит, что все хорошо? Что ничего не случилось? Или он просто не хочет замечать, что что-то случилось?

— Наташ, передай, пожалуйста, хлеб, — попросила тетя Валя.

— Конечно.

Она протянула хлеб, и в этот момент телефон Льва, лежавший на столе рядом с тарелкой, завибрировал.

Обычное дело. Никто не обратил внимания. Но Наталья смотрела. Она смотрела на Льва, когда он бросил взгляд на экран.

Это было мгновение. Доля секунды. Но она увидела все.

Сначала — напряжение. Легкое, едва заметное, как если бы он ожидал этого сообщения и боялся его. Потом — быстрый пробег по строчкам. И наконец — то, что заставило её сердце сжаться в ледяной ком: вина. И раздражение. Не на того, кто написал. На себя? На ситуацию? На неё, Наталью, которая сидела рядом и могла увидеть?

Он тут же погасил экран, сунул телефон в карман пиджака, висевшего на спинке стула. И продолжил разговор с дядей Витей — о политике, о погоде, о чем-то неважном.

— ...а я говорю, цены сейчас такие, что и в санаторий не съездишь, — вещал дядя Витя. — Твоей матери повезло, что путевку по работе дали, а то бы...

— Да, повезло, — кивнул Лев, и голос его был ровным, спокойным.

Наталья смотрела на его профиль. Красивый профиль — прямой нос, твердый подбородок, четкая линия скул. Она любила этот профиль. Любила гладить его пальцами, целовать, чувствовать, как он расслабляется под её прикосновениями. Но сейчас она видела другое. Она видела, как напряжены его плечи. Как неестественно спокойна его поза. Как он не смотрит на неё.

«Кто написал?» — хотела спросить она. — «Маргарита? Или та, другая, с дешевыми духами?»

Но она не спросила. Она продолжала улыбаться. Потому что за этим столом нельзя. Потому что сейчас спектакль, и у неё есть роль.

— Наташ, ты чего не ешь? — спросила тетя Валя, заметив, что тарелка Натальи почти полная.

— Аппетита нет, — ответила она. — Немного устала.

— Устала она, — проворчала Тамара Семеновна. — Молодые сейчас быстро устают. А я вот в её возрасте...

— Тома, — перебила тетя Валя, — дай человеку отдохнуть. Завтра выходной.

— Завтра я уезжаю, — с достоинством произнесла свекровь. — И нужно еще вещи собрать, квартиру проверить...

— Мы проверим, мама, — сказал Лев. — Не волнуйся.

— Вы проверите? — Тамара Семеновна с сомнением посмотрела на сына, потом на Наталью. — Ну-ну. Смотрите, чтобы порядок был. Я вернусь — все проверю.

Она произнесла это с такой уверенностью, будто уезжала не на две недели, а на месяц, и будто Наталья без нее непременно устроит в доме хаос. Наталья кивнула. Улыбнулась. Спазм.

— Не волнуйтесь, Тамара Семеновна, все будет в порядке.

— То-то же.

Разговор перетек на другую тему. Лев снова включился в беседу, смеялся, шутил. Но Наталья видела: он отвлекся. Телефон в кармане пиджака жег его, она чувствовала это кожей. Он ждал следующего сообщения. Или боялся его.

Она смотрела на его руки — сильные, с длинными пальцами, руки, которые она так любила. Сейчас эти руки слегка дрожали, когда он брал бокал. Или ей казалось?

«Спектакль становится невыносимым», — подумала она. — «Я больше не могу играть. Не могу делать вид, что ничего не знаю. Не могу сидеть рядом и улыбаться, когда в кармане его пиджака лежит чужой секрет».

Но она продолжала. Потому что так надо. Потому что нельзя рушить спектакль до финала. Потому что, если она сейчас встанет и скажет правду, мир рухнет. И она не знает, сможет ли жить в руинах.

— За маму! — провозгласил дядя Витя, поднимая бокал. — Чтобы хорошо отдохнула! Чтобы здоровье поправила! А мы тут без тебя как-нибудь справимся!

— Справитесь, — кивнула Тамара Семеновна, но в ее голосе было сомнение. — Лев-то справится, а вот она...

Она кивнула в сторону Натальи, и в этом жесте было столько привычного пренебрежения, что Наталья вдруг остро, до боли, захотела ответить. Сказать что-то резкое, злое, что выведет свекровь из себя, разрушит этот фальшивый вечер, эту фальшивую семью, эту фальшивую жизнь.

Но она не сказала. Улыбнулась. Спазм.

— Выпьем, — сказала она, поднимая свой бокал. — За ваш отдых, Тамара Семеновна.

Свекровь посмотрела на нее с подозрением — слишком уж спокойна, слишком уж вежлива. Но бокал подняла. Чокнулись. Выпили.

Ужин закончился поздно. Тетя Валя с дядей Витей ушли, нагруженные гостинцами — баночкой варенья, пирожками, которые Тамара Семеновна испекла «на дорожку». Наталья мыла посуду, Лев помогал матери собирать вещи. Из спальни доносились их голоса — свекровь давала последние наставления, Лев обещал звонить каждый день.

Наталья стояла у раковины, смотрела на мыльную пену, и думала о том, что завтра все изменится. Свекровь уедет. Две недели они будут вдвоем. Две недели, которые должны стать их «вторым медовым месяцем». Но она знала: ничего не изменится. Потому что проблема не в свекрови. Проблема в них. В нем. В том, что между ними появилось что-то, чего она не может ни увидеть, ни потрогать, ни понять.

— Наташ, — Лев вошел на кухню. — Мама просит помочь с чемоданом. Ты как?

— Сейчас, — она вытерла руки. — Иду.

Она прошла в спальню, где Тамара Семеновна, пыхтя, утрамбовывала вещи в чемодан.

— Вот, помоги, — свекровь кивнула на тяжелую сумку. — Лев-то не умеет, а ты...

Наталья взяла сумку, ловко уложила вещи, застегнула молнию. Тамара Семеновна смотрела на нее с неожиданным выражением — не то благодарность, не то сожаление.

— Спасибо, — сказала она тихо, так, чтобы Лев не слышал. — Ты... присмотри за ним. Хорошо?

— Хорошо, — ответила Наталья.

Свекровь кивнула, и в этом кивке было что-то, чего Наталья не ожидала — признание. Признание того, что она, Наталья, нужна. Что она делает что-то правильно. Но это признание пришло слишком поздно. Или слишком рано. Она уже не знала.

Ночью, когда все уснули, Наталья лежала в темноте и смотрела в потолок. Лев спал рядом, его дыхание было ровным, спокойным. Телефон лежал на тумбочке, темный, безмолвный. Она знала код. Она могла бы взять его, проверить, узнать, кто писал сегодня за ужином. Но она не двигалась.

Потому что боялась. Боялась не того, что найдет. Боялась, что не найдет ничего. И тогда придется признать, что она сходит с ума. Что ей показалось. Что она сама разрушает свою семью, свою жизнь, себя — своими подозрениями, своей ревностью, своей пустотой.

«Может быть, это я во всем виновата», — подумала она. — «Может быть, если бы я была другой — лучше, веселее, увереннее — он бы не искал на стороне. Может быть, я сама оттолкнула его. Своей усталостью, своей серостью, своей покорностью».

Она закрыла глаза. Слезы потекли по щекам, тихие, соленые. Она не вытирала их. Пусть текут. Может быть, вместе с ними вытечет и боль.

Часть 2. Две недели, которые изменили всё

Утро понедельника началось с тишины.

Наталья проснулась и не сразу поняла, что ее разбудило. Не было привычного звона посуды на кухне. Не было голоса Тамары Семеновны, которая, даже разговаривая сама с собой, умудрялась делать это так громко, что просыпался весь дом. Не было запаха жареного лука, который всегда просачивался в спальню, даже если дверь была закрыта.

Была тишина. Абсолютная, звенящая, непривычная.

Наталья открыла глаза. Лев спал рядом, его лицо было расслабленным, почти мальчишеским. Она смотрела на него и думала о том, что сегодня они одни. Впервые за три года — одни. Без Тамары Семеновны, без ее контроля, без ее присутствия, которое заполняло собой каждую комнату, каждый угол, каждую минуту их жизни.

Она осторожно встала, чтобы не разбудить мужа, и прошла на кухню. Здесь тоже было тихо. Солнце светило в окно, пыль танцевала в лучах, на плите не было кастрюль, в раковине — грязной посуды. Все было чисто, вымыто, убрано. Но не было жизни.

Наталья включила чайник, села за стол. Пустой стул напротив, где обычно сидела свекровь, был свободен. Она смотрела на этот стул и чувствовала странное, непривычное облегчение. И тут же — вину за это облегчение.

«Хорошая невестка должна скучать», — подумала она. — «Должна переживать, чтобы у свекрови все было хорошо. А я... я рада. Я рада, что ее нет. Какая же я плохая».

Она пила чай, глядя в окно, и думала о том, что две недели — это не так много. Две недели пролетят быстро, и Тамара Семеновна вернется, и все станет как прежде. Но что-то внутри нее — та самая пустота, которая поселилась там после ночи с помадой — шептало: «Не пролетят. Эти две недели будут длинными. И они все изменят».

— Доброе утро, — Лев появился на кухне, заспанный, в старой футболке, с взъерошенными волосами. Он выглядел так, как в первые годы их брака — расслабленным, домашним, настоящим.

— Доброе, — ответила Наталья. — Кофе будешь?

— Да. И... — он помялся, — может, завтрак? Яичницу? Я сам сделаю. Ты отдыхай.

Она удивилась. Лев никогда не готовил. Вернее, готовил, но редко, и каждый раз это было событие, которое Тамара Семеновна комментировала: «Ой, Левушка, зачем ты, я сама, ты устал на работе». Сегодня свекрови не было, и Лев, кажется, решил воспользоваться свободой.

— Хорошо, — сказала Наталья. — Я подожду.

Он готовил яичницу неумело, но старательно. Разбил яйца, сковорода была слишком горячей, края подгорели, желтки растеклись. Наталья сидела за столом, смотрела на его спину, и что-то теплое, давно забытое, шевельнулось в груди. Не любовь — нет, любовь была где-то там, под слоем пустоты и боли. Но что-то похожее. Надежда.

— Готово! — Лев поставил перед ней тарелку с яичницей. Она была некрасивой, подгоревшей, но он сделал ее сам. Для нее.

— Спасибо, — сказала Наталья.

Он сел напротив, и они ели в тишине. Не в той тяжелой, напряженной тишине, которая была, когда здесь сидела Тамара Семеновна, а в другой — легкой, почти уютной. Как в самом начале. Когда они только поженились и снимали маленькую квартирку, и у них не было ничего, кроме друг друга.

— Наташ, — сказал Лев, отодвигая пустую тарелку. — Я хотел предложить...

Он замолчал, будто подбирал слова.

— Что? — спросила она.

— Давай... — он провел рукой по лицу, жест неуверенности, который она знала. — Давай попробуем начать заново. Эти две недели. Как в самом начале. Помнишь, как было?

Наталья смотрела на него. В его глазах было что-то, чего она давно не видела — надежда. Не та дежурная, привычная «все будет хорошо», а настоящая, живая, почти отчаянная.

— Помню, — сказала она.

— Давай сходим в кино? — предложил он. — Сегодня вечером. Как раньше. Ты любишь кино.

— Люблю.

— Тогда решено.

Он улыбнулся, и эта улыбка — открытая, беззащитная — заставила ее улыбнуться в ответ. Настоящей улыбкой. На секунду маска спала, и она снова стала Наташей — той, что любила ходить в кино, смеяться над глупыми комедиями и плакать над мелодрамами.

«Может быть, все наладится», — подумала она. — «Может быть, я ошиблась. Может быть, помада — просто случайность. Может быть, смс — рабочий вопрос. Может быть, мы действительно можем начать заново».

Вечером они пошли в кино. Наталья надела платье — то самое, синее, в котором он впервые пригласил ее на свидание. Оно было ей мало — три года спокойной жизни и домашних пирожков Тамары Семеновны сделали свое дело, — но она влезла. Лев посвистел, увидев ее.

— Ты сегодня королева, — сказал он.

— Стараюсь, — ответила она.

В кинотеатре было темно, пахло попкорном и чем-то сладким. Они взяли большие стаканы с колой, сели в последний ряд, как в студенчестве. Лев положил руку ей на плечо, и она прижалась к нему, чувствуя тепло его тела, запах его одеколона.

Фильм был какой-то комедией, но Наталья не смотрела. Она смотрела на Льва. На его профиль, подсвеченный экраном. На его губы, которые иногда растягивались в улыбке. На его глаза, которые следили за действием.

Она пыталась найти в этом лице того парня, за которого выходила замуж. Того, кто держал ее за руку в ЗАГСе и шептал: «Мы будем счастливы». Того, кто обещал, что они будут путешествовать, растить детей, стареть вместе.

Она искала и не находила. Или находила, но не верила. Слишком много всего случилось. Слишком много лжи, молчания, невысказанных слов.

— Тебе не нравится? — спросил Лев, заметив, что она не смотрит на экран.

— Нравится, — солгала она. — Просто задумалась.

— О чем?

— О нас.

Он сжал ее плечо.

— Все будет хорошо, — сказал он. — Вот увидишь.

Она кивнула, и снова натянула улыбку. В темноте кинотеатра это было легче — никто не видел, какой она была на самом деле.

Домой возвращались пешком. Ночь была холодной, но звездной. Лев держал ее за руку, и его ладонь была теплой, надежной. Они молчали, но молчание было спокойным, почти счастливым.

— Наташ, — сказал он, когда они зашли в подъезд. — Я люблю тебя. Ты знаешь?

Она посмотрела на него. В тусклом свете подъезда его лицо казалось чужим, но глаза были знакомыми — теми самыми, в которые она влюбилась.

— Знаю, — сказала она. — Я тоже тебя люблю.

Это была правда. Она любила его. Несмотря на помаду. Несмотря на смс. Несмотря на пустоту, которая росла внутри. Она любила его той странной, больной любовью, которая не уходит, даже когда должна.

Дома, в тишине, которую не нарушал голос Тамары Семеновны, они оказались наедине. Впервые за три года — по-настоящему одни. И что-то случилось. Не запланированное, не придуманное. Просто — они снова стали теми, кем были в начале.

Лев обнял ее, и в этом объятии не было привычной дежурной нежности. Была страсть — глубокая, давно забытая. Наталья отвечала, и в каждом ее движении была отчаянная надежда: может быть, если они сейчас будут достаточно близки, все срастется. Может быть, если она отдаст ему все, что осталось, он вернется. Может быть, если она закроет глаза и не будет думать о чужой помаде, чужих духах, чужих смс, то все исчезнет.

Они любили друг друга долго, жадно, почти зло. А потом лежали в темноте, тяжело дыша, и Наталья чувствовала, как слезы текут по щекам. Она не знала, почему плачет. От счастья? От боли? От безнадёжности?

— Ты плачешь? — спросил Лев, касаясь ее лица.

— Нет, — прошептала она. — Это от счастья.

Он поверил. Или сделал вид, что поверил. Обнял ее, прижал к себе, и они уснули, переплетаясь телами, как в первый год брака.

Утром Наталья проснулась одна. Лев уже ушел на работу, оставив на тумбочке записку: «Вчера было здорово. Давай сегодня куда-нибудь сходим? Люблю тебя».

Она взяла записку, посмотрела на знакомый почерк, и что-то сжалось в груди. Хорошо. Вчера было хорошо. Но хорошо ли будет сегодня? И завтра? И послезавтра? Хватит ли этих двух недель, чтобы склеить то, что разбилось?

Она не знала. Она ничего не знала.

Она встала, умылась, оделась. На кухне, проходя мимо гостиной, заметила пустой диван свекрови. Тот самый, на который Тамара Семеновна садилась смотреть телевизор, тот самый, с которого она командовала, указывала, критиковала. Сейчас диван был пуст, и Наталья вдруг, неожиданно для себя, села на него.

Она села на диван свекрови.

Это был вызов. Маленький, глупый, но вызов. Она никогда не садилась на этот диван — «это мое место», говорила Тамара Семеновна, и Наталья послушно садилась в кресло, стоявшее в углу. А теперь она сидела здесь, чувствуя себя победительницей в маленькой, глупой войне.

И сразу же стало стыдно. Какой смысл? Свекрови нет, она не видит. А она, Наталья, сидит на ее диване и радуется. Какая глупость.

Она встала, поправила подушки, чтобы никто не заметил. Но ощущение свободы — той самой, которую она искала в каждом глотке холодного воздуха, в каждом взгляде на пустые качели — осталось.

Две недели. Она может делать все, что хочет. Может сидеть на любом диване. Может не готовить ужин, если не хочет. Может включить музыку на полную громкость. Может танцевать на кухне.

Она подошла к окну, посмотрела на пустую улицу, и впервые за долгое время улыбнулась без усилия. Просто так. Потому что солнце светило. Потому что она была жива. Потому что впереди было целых две недели.

Часть 3. Эхо привычки

Первые дни «медового месяца» были почти идеальными.

Наталя просыпалась с чувством странной, непривычной легкости. Она готовила завтрак — не торопясь, без оглядки на чужое мнение. Можно было сделать яичницу с помидорами, хотя Тамара Семеновна считала, что помидоры утром — это «тяжелая пища». Можно было не жарить, а сварить овсянку, хотя свекровь называла овсянку «едой для больных». Можно было вообще ничего не готовить — просто пить кофе и смотреть в окно.

Она делала все, что хотела. И от этого маленького, почти детского своеволия кружилась голова.

Лев тоже старался. Он возвращался пораньше, приносил цветы — простые, полевые, какие она любила. Они вместе гуляли по вечерам, держась за руки, как влюбленные подростки. Разговаривали. Вспоминали. Смеялись.

— Помнишь, как мы познакомились? — спросил он однажды, сидя на кухне и глядя, как она режет салат.

— На вечеринке у Иры, — ответила Наталя. — Ты танцевал так ужасно, что я не могла отвести глаз.

— Я не ужасно танцевал, — обиделся он. — Я танцевал с душой.

— С душой, которая не попадала в такт.

Он рассмеялся, и этот смех — искренний, громкий — напомнил ей того Льва, которого она потеряла. Она улыбнулась, и улыбка получилась настоящей.

— А помнишь наше первое свидание? — спросила она.

— Кино, потом прогулка по набережной, потом ты сказала, что хочешь мороженое, хотя был ноябрь.

— И ты купил.

— Я бы купил тебе что угодно.

Он смотрел на нее, и в его глазах было что-то, что заставило ее поверить: он говорит правду. Он действительно любит ее. И все, что случилось — может быть, случайность. Может быть, она придала слишком большое значение пустякам.

Она почти забыла о помаде. Почти.

Но привычка — сильная вещь.

На четвертый день Лев задержался на работе. Он позвонил, предупредил, голос был виноватым, но Наталя сказала: «Ничего, работа есть работа». Она приготовила ужин, села ждать. И ждала долго. Два часа. Три.

Когда он пришел, глаза его блестели — он выпил. Немного, но выпил.

— Прости, — сказал он, целуя ее в щеку. — Проект. Коллеги предложили отметить. Я не мог отказаться.

— Конечно, — ответила она. — Я понимаю.

Она понимала. Но внутри, там, где поселилась пустота, что-то шевельнулось. Тень. Воспоминание. Она отогнала его.

На пятый день он снова задержался. На шестой — тоже. И каждый раз были причины: «горящий проект», «срочные переговоры», «коллеги попросили помочь». Наталя кивала, улыбалась, говорила: «Конечно, я понимаю».

Но она чувствовала, как что-то ускользает. Те самые две недели, которые должны были стать их вторым медовым месяцем, превращались в обычную жизнь. Такую же, как была при Тамаре Семеновне. Только без ее голоса.

— Лев, — сказала она на седьмой день, когда он снова засиделся за ноутбуком после ужина. — Ты обещал, что эти две недели будут наши.

— Они наши, — ответил он, не отрываясь от экрана. — Я просто доделаю отчет.

— Ты вчера тоже доделывал. И позавчера.

— Наташ, — в его голосе появилось раздражение, — я работаю. Ты же понимаешь, у нас проект. Если я не сдам вовремя...

— Я понимаю, — перебила она. — Но ты обещал.

Он поднял глаза. В них была усталость и что-то еще — вина? Раздражение? Она не могла разобрать.

— Давай завтра сходим куда-нибудь, — сказал он. — В кино? Или на выставку, ты же любишь.

— На выставку, — кивнула она. — В галерею на Ленина. Там открылась новая экспозиция.

— Договорились, — он снова уткнулся в ноутбук.

Наташ смотрела на его склоненную голову, на пальцы, быстро стучащие по клавишам, и чувствовала, как надежда, еще вчера такая живая, начинает увядать. «Завтра», — сказал он. Завтра. Она столько раз слышала это «завтра», что слово потеряло смысл.

На следующее утро она напонила:

— Сегодня выставка. Ты помнишь?

— Помню, — ответил он, завязывая галстук. — Вечером, после работы.

— Во сколько?

— Ну... — он помедлил. — Часам к восьми. Я постараюсь не задерживаться.

Она кивнула. Весь день она думала о выставке. Выбрала платье, нарядилась — впервые за долгое время. Смотрела в зеркало и пыталась увидеть себя прежнюю. Ту, которая могла вдохновляться искусством, часами стоять у картины, спорить о смыслах и цветах.

В семь она была готова. Ждала. В семь тридцать — тишина. В восемь — молчание. В восемь тридцать она позвонила.

— Лев, ты где?

— Наташ, — голос его был виноватым, — прости, я забыл. Тут отчет, Маргарита...

Она услышала это имя и замерла.

— Маргарита? — переспросила она.

— Да, мы с ней работаем над проектом. Она сказала, что нужно срочно все переделать. Я не могу уйти.

— Ты обещал.

— Я знаю. Прости. Давай в другой раз.

Она молчала. В другой раз. Сколько можно? Сколько этих «других раз»?

— Наташ? — он позвал, не дождавшись ответа.

— Да, — сказала она. — В другой раз.

Она положила трубку. Сняла платье, повесила в шкаф. Смыла макияж. Посмотрела в зеркало. Оттуда смотрела знакомая, бледная женщина с пустыми глазами.

Она не заплакала. Слез не было. Только пустота. Та самая, что поселилась в ней в ту ночь. Она росла, заполняла собой все пространство, и Наташ чувствовала, как становится меньше, прозрачнее, как исчезает.

Она надела куртку, вышла на улицу. Ноги сами понесли ее. Не к нему. Не к Ире. Просто — гулять. Дышать. Быть одной.

Город вечером был красивым. Огни, витрины, лица прохожих. Наталья шла, не глядя по сторонам, и думала. Думала о том, что она делает не так. Почему он не хочет быть с ней? Почему работа, коллеги, проекты — все важнее? Почему она всегда ждет, а он всегда занят?

Она свернула на улицу, где когда-то, еще до замужества, покупала краски. Магазин был открыт, свет горел в окнах, и она, сама не зная зачем, толкнула дверь.

Внутри пахло маслом, деревом и чем-то еще — запахом творчества, который она забыла. Наталья остановилась, оглядываясь. Кисти, краски, холсты, альбомы. Все, что она когда-то любила. Все, что она оставила.

— Вам помочь? — спросила продавщица.

— Я... — Наталья запнулась. — Я просто смотрю.

Она прошла между стеллажами, трогая пальцами баночки с краской, папки с бумагой. Вспомнила, как в детстве часами сидела за столом, смешивая цвета, выводя линии. Как бабушка — учительница рисования — говорила: «У тебя талант, Наташа. Не бросай».

Она бросила. Сначала — институт, потом — работа, потом — замужество. Все это было важнее. Или казалось важнее.

Она взяла небольшой альбом — плотная бумага, твердая обложка. Потом — набор пастели. Мягкие, бархатистые мелки, которые пахли детством.

— Это все? — спросила продавщица.

— Да.

Она заплатила, взяла пакет и вышла. На улице было холодно, но в груди вдруг стало тепло. Не от покупки — от ощущения, что она сделала что-то для себя. Для той Наташи, которую забыла.

Дома Лев еще не вернулся. Она прошла в гостиную, села на диван (теперь она сидела на диване свекрови всегда, это стало ее маленьким бунтом), открыла альбом.

Бумага была белой, чистой, пугающей. Она долго держала мелок в руке, не решаясь сделать первый штрих. Что рисовать? Что она умеет? Она забыла. Все забыла.

Но рука пошла сама. Сначала линия — вертикальная, прямая. Потом — еще одна, горизонтальная. Потом — рама, стекло. Она рисовала окно.

Окно, за которым ничего нет. Пустая улица, темное небо, ни огонька. И в этом окне — она сама. Силуэт женщины, смотрящей в пустоту.

Рисунок получился грубым, неумелым. Детским. Но он был ее. Первый за три года.

Наталья смотрела на набросок и чувствовала, как что-то внутри нее — не пустота, нет, что-то другое, давно забытое — начинает просыпаться.

Она взяла другой мелок, синий, и добавила на небо звезду. Одну. Маленькую. Но она горела.

В дверях хлопнул замок. Лев вернулся.

— Наташ? — он заглянул в гостиную. — Ты не спишь?

— Нет.

Он подошел, увидел альбом, удивился.

— Ты рисуешь?

— Пытаюсь.

Он посмотрел на рисунок. Наталья ждала — похвалит? Посмеется? Скажет что-то?

— Окно, — сказал он. — Пустое.

— Да.

— Красиво, — сказал он, но в голосе не было искренности. Он был где-то далеко, в своем мире проектов и отчетов.

— Спасибо, — ответила она.

Он поцеловал ее в лоб.

— Я спать. Устал.

— Спокойной ночи.

Он ушел. Наталья осталась одна, с альбомом в руках. Она смотрела на рисунок — незаконченный, неумелый, но свой. И думала о том, что две недели, которые должны были изменить всё, изменили только ее.

Она снова стала рисовать.

А он остался прежним.

Глава 4

В пятницу Наталья ушла с работы пораньше. Начальница, заметив ее непривычную решительность, поджала губы — в бухгалтерии не принято уходить раньше шести, даже если все отчеты сданы, — но промолчала. В последнее время Наталья вообще вела себя странно: перестала задерживаться после работы, перестала соглашаться на сверхурочные, а в среду, когда коллеги собрались на плановый обед в столовой, она вытащила из сумки бутерброд, сделанный дома, и сказала: «Я сегодня не пойду, у меня дела». Света из соседнего отдела потом шепнула: «Ты чего? Начальница не любит, когда свои бутерброды таскают. Скажет, что мы от коллектива отделяемся». Наталья только плечами пожала. Она вдруг остро, до физической боли, почувствовала, что больше не хочет подстраиваться. Не хочет быть удобной. Не хочет играть роли — ни на работе, ни дома, нигде.

Ира прислала адрес студии еще утром: «Акварель», улица Ленина, 14, вход со двора, третий этаж. Начало в семь. И строгое: «Если не придешь, я тебя найду и убью. Обещаю насильно вытащить из твоей раковины».

Наталья шла по улице, и город казался ей другим. Осенний вечер был мягким, безветренным, и в воздухе пахло прелыми листьями и чем-то сладким — возможно, из кондитерской на первом этаже. Она сжимала в руке пакет с новым альбомом — тем самым, купленным в магазине красок, — и чувствовала, как ладони потеют. Глупо. Она идет на мастер-класс по рисованию, а не на экзамен. Но внутри все сжималось от страха. А что, если она ничего не умеет? Что, если ее рисунки — те, что она делала дома, в тишине пустой квартиры, — на самом деле бездарны? Что, если она увидит других, настоящих художников, и поймет, что ей там не место?

Она почти развернулась. Шагнула назад, к метро. Но телефон завибрировал — Ира: «Я тебя вижу. Стою у входа. Иди сюда, трусиха».

Наталья подняла глаза. Напротив, у неприметной двери между продуктовым магазином и химчисткой, стояла Ира — в своем неизменном красном пальто, с растрепанными ветром волосами. Она улыбалась, и в этой улыбке было столько тепла, столько уверенности, что Наталья вдруг поняла: она не может не пойти. Не ради рисования. Ради того, чтобы доказать себе — и Ире — что она еще жива.

— Идем, — Ира обняла ее, не спрашивая ни о чем. — Я с тобой. Не бойся.

— Я не боюсь, — соврала Наталья.

— Врешь, — усмехнулась Ира. — Идем.

Студия находилась на третьем этаже старого здания. Лифта не было, и пока они поднимались по скрипучей лестнице, Наталья насчитала три пролета, сорок семь ступенек и четыре облупленные стены, исписанные граффити. Внутри, за тяжелой деревянной дверью, мир изменился. Пахло маслом, скипидаром и еще чем-то — сухим, теплым, напоминающим школьный класс, но без страха перед двойкой. Стены были увешаны рисунками — акварели, пастель, графика, какие-то сложные, завораживающие композиции. Вдоль окон стояли мольберты, в углу — стеллажи с баночками, кистями, папками. Посреди комнаты — большой стол, накрытый клеенкой, и на нем — бумага, карандаши, мелки, тушь.

В студии уже было человек десять. Женщины. Все разные — молодые и не очень, в джинсах и платьях, с короткими стрижками и длинными хвостами. Они разговаривали, смеялись, пили чай из керамических кружек. И все они выглядели так, будто знали, зачем пришли. Будто это место было их, родным.

Наталья почувствовала себя чужой. Слишком правильной. Слишком серой. Она стояла у входа, сжимая в руках пакет, и не знала, куда сесть, с кем заговорить, что делать.

— Вы новенькая? — голос сзади заставил ее вздрогнуть.

Она обернулась. Женщина лет сорока, в простой льняной рубашке и джинсах, с короткой стрижкой и внимательными, чуть прищуренными глазами. В руках она держала чашку чая и папку с эскизами.

— Да, — выдавила Наталья. — Я... Ира пригласила.

— А, Ирочка! — женщина улыбнулась. — Она у нас звезда. Давно не была. А вы, значит, ее подруга?

— Да. Наталья.

— Виктория, — женщина протянула руку. — Я здесь веду занятия. Не стесняйтесь, приходите, берите бумагу, садитесь куда удобно. У нас все просто.

Она говорила спокойно, ровно, без той фальшивой приветливости, которая бывает у учителей, пытающихся расположить к себе. Виктория была настоящей — в своей льняной рубашке, в своих красках на пальцах, в своем спокойствии. Наталья вдруг поверила ей. Почему-то сразу.

— Я... давно не рисовала, — призналась она.

— И не надо, — Виктория пожала плечами. — Тело помнит. Давайте руку.

Наталья протянула руку. Виктория взяла ее, повертела, посмотрела на пальцы.

— Рука художника, — сказала она. — Я вижу. Вы рисовали. Много. Давно. Но рисовали. Не бойтесь. Оно вернется.

Она отпустила руку и ушла к другим ученицам, оставив Наталью стоять посреди комнаты с открытым ртом.

— Ну что? — Ира возникла рядом. — Вика — чудо, да? Я тебе говорила.

— Ты не говорила, — ответила Наталья. — Ты сказала: «Запишись на йогу». Это я сама нарисовалась.

— Ай, не важно, — отмахнулась Ира. — Давай, выбирай место.

Они сели у окна. Наталья разложила свои принадлежности — альбом, пастель, карандаши, которые успела купить по дороге. Рядом с красками и кистями других учениц ее набор выглядел бедно, по-детски. Но она решила не обращать на это внимания.

Виктория начала занятие. Она не читала лекций, не объясняла теорию цвета и композиции. Она просто сказала:

— Сегодня мы будем рисовать состояние. Не предмет. Не натуру. Не портрет. Состояние. То, что внутри. Возьмите бумагу, выберите материалы — и начните. Не думайте. Не оценивайте. Просто позвольте руке двигаться.

Наталья смотрела на чистый лист, и он смотрел на нее — белый, пугающий, идеальный. Она боялась его испортить. Боялась, что первый же штрих будет неправильным. Что все увидят, как она неумела. Что Ира пожалеет, что привела ее.

Рядом женщины уже рисовали. Кто-то — крупные, яркие мазки. Кто-то — тонкие, почти невидимые линии. Кто-то смешивал краски прямо на листе, и вода растекалась по бумаге, создавая причудливые разводы. Наталья сидела, сжимая в пальцах мелок, и не могла начать.

— Не получается, — прошептала она Ире.

— Не заставляй, — ответила подруга, не отрываясь от своего листа, на котором уже проступали очертания дома. — Просто... начни. Хоть что-нибудь. Точку поставь.

Наталья поставила точку. Маленькую, черную, в углу листа. Точка смотрела на нее, и в ней было что-то — тоска? одиночество? Она поставила еще одну. Потом еще. Потом соединила их линией. Линия получилась дрожащей, неуверенной.

«Глупость», — подумала она. — «Я рисую точки, как первоклассница».

Она хотела смять лист, начать новый, но что-то остановило. В этих точках, в этой дрожащей линии было что-то знакомое. Что-то, что она чувствовала каждое утро, глядя в зеркало.

— Вижу, вы начали, — Виктория возникла за спиной так тихо, что Наталья вздрогнула. — Можно?

Наталья кивнула. Виктория взяла лист, повертела в руках, посмотрела на свет.

— Вы боитесь, — сказала она спокойно. — Боитесь ошибиться. Боитесь, что получится не так, как вы хотите. Боитесь, что кто-то осудит. Поэтому вы рисуете маленькие, безопасные точки. Правильно?

Наталья молчала. Ей хотелось провалиться сквозь землю.

— Я вас понимаю, — Виктория положила лист на место. — Я тоже так начинала. Десять лет назад. После развода. Мне казалось, что я ничего не умею. Что любая моя линия будет неправильной. Что я не имею права называть себя художницей.

— И что вы сделали? — спросила Наталья.

— Я нарисовала то, что чувствовала, — Виктория посмотрела ей прямо в глаза. — Не то, что красиво. Не то, что правильно. А то, что внутри. Гнев. Тоску. Обиду. Пусть это будет на бумаге. Не пытайтесь нарисовать идеально. Просто... выпустите.

Она отошла. Наталья осталась одна, с белым листом и словами, которые застряли в голове. «Нарисуйте то, что чувствуете». А что она чувствует? Пустоту? Или пустота — это отсутствие чувств? Нет, пустота — это тоже чувство. Она тяжелая, вязкая, она заполняет собой все — грудь, горло, голову. Она не дает дышать. Она заставляет улыбаться, когда хочется плакать. Она делает ее стеклянной, прозрачной, ненастоящей.

Наталья закрыла глаза.

В темноте под веками что-то шевельнулось. Образы — липкий линолеум в прихожей, полоска света из-под двери спальни, отпечаток чужой помады на белой ткани. Чужая рука на плече мужа. Его улыбка, обращенная к телефону. Дешевый запах цветов, ввевшийся в воротник.

Она открыла глаза, взяла тушь — черную, густую, — макнула кисть и провела по бумаге линию. Резкую, толстую, черную. Потом еще одну. Потом еще. Кисть ходила по листу, оставляя за собой рваные, злые штрихи. Она не думала. Не контролировала. Просто выпускала то, что копилось внутри три года.

Линия превращалась в кляксу, клякса расплзалась, захватывая все больше пространства. Черное на белом. Тьма на свете. Она добавила красного — туда, где была боль. Синего — туда, где была тоска. Желтого — туда, где еще теплилась надежда, маленькая, умирающая.

Она не заметила, как вокруг нее замолчали. Как женщины отложили кисти и смотрели на ее лист. Как Ира замерла с открытым ртом.

Наталья рисовала. Нет — она выплескивала. Выплескивала себя. Свою боль, свою усталость, свою ярость, свою любовь, которая превратилась в ненависть, и свою ненависть, которая так и не смогла убить любовь.

Когда она остановилась, лист был почти черным. Красные и синие всполохи, желтые проблески, черная глубина. Хаос. Но в этом хаосе была жизнь.

Она смотрела на свою работу и дышала тяжело, как после бега. Руки дрожали. На глаза навернулись слезы.

— Вот, — услышала она голос Виктории. — Вот это и есть вы. Настоящая.

Наталья подняла голову. Виктория стояла рядом, и в ее глазах было что-то, чего Наталья не ожидала — не жалость, не снисхождение. Уважение.

— Я... — начала Наталья и запнулась. — Я не знаю, что это.

— Это правда, — ответила Виктория. — Это ваша правда. Посмотрите.

Она взяла лист, повернула его. И Наталья вдруг увидела. В этом хаосе, в этих кляксах и мазках, проступал силуэт. Птица. Черная птица с распахнутыми крыльями, вырывающаяся из темноты. Она не планировала ее рисовать. Она просто была.

— Даже из темноты может родиться полет, — тихо сказала Виктория.

Она протянула Наталье тонкую кисть и баночку с белой тушью.

— Добавьте света. Там, где нужно.

Наталья взяла кисть. Рука больше не дрожала. Она провела тонкую белую линию по краю крыла, и птица ожила. Еще одну — по клюву. Еще — по глазу, который вдруг стал живым, смотрящим, понимающим.

Когда она закончила, в студии было тихо. А потом Ира хлопала. Одна. Потом подхватили другие женщины. Наталья сидела, сжимая в руках кисть, и не знала, куда деваться от этого внимания. Но внутри, там, где была пустота, вдруг что-то шевельнулось. Не надежда — нет. Что-то другое. Уверенность. Маленькая, хрупкая, но живая.

— Вы будете приходить? — спросила Виктория, когда занятие закончилось и женщины начали расходиться.

— Да, — ответила Наталья, и это «да» прозвучало тверже, чем она ожидала. — Я буду приходить.

Она вышла на улицу, держа в руках свой рисунок — черную птицу, вырывающуюся из темноты. Ночь была звездной, и ветер стих, и город казался другим — не чужим, не враждебным, а просто... городом. Местом, где можно жить.

— Ну как ты? — спросила Ира, идя рядом.

— Хорошо, — сказала Наталья. — Впервые за долгое время — хорошо.

Она не соврала. Впервые за три года она чувствовала себя не функцией, не женой, не невесткой, не бухгалтером. Она чувствовала себя — собой. Наташей. Женщиной, которая умеет рисовать. Которая может создать что-то из ничего. Которая может вырваться из темноты.

Птица на рисунке смотрела на нее черным глазом, и в этом взгляде было что-то, что заставило ее улыбнуться.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.